



СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА БЕЛАРУСИ

ОЛЕГ
ЖДАН-ПУШКИН



ОАЗИС

Повести • Рассказы

Современная проза Беларуси

Олег Ждан-Пушкин

Оазис

«Четыре четверти»

2020

Ждан-Пушкин О. А.

Оазис / О. А. Ждан-Пушкин — «Четыре четверти»,
2020 — (Современная проза Беларуси)

ISBN 978-985-581-159-7

Книга «Оазис» посвящена жизни малого белорусского города. Однако события, которые стали ее содержанием, связаны с общей историей нашей Родины: жизнь человека в первые годы после Великой Отечественной войны, после Чернобыльской катастрофы, начало так называемой «перестройки»... И как в нашей повседневной жизни, есть на ее страницах смех и слезы, печаль и надежда, вера в человека и его будущее.

ISBN 978-985-581-159-7

© Ждан-Пушкин О. А., 2020

© Четыре четверти, 2020

Содержание

Странник	6
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Олег Ждан-Пушкин
Оазис

Повести, рассказы

© Ждан-Пушкин О., 2020

© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2020



Странник

Повесть

Город наш стоит без малого тысячу лет, простоит, может быть, еще столько же, ничем не выделяясь среди других, таких же незаметных, тихих. Имя его за эту тысячу лет ни разу не привлекло внимания мира, вряд ли привлечет и впредь: ни полезных ископаемых в окрестностях, ни важных дорог, ни рукотворных морей – в этом счастье его и беда. Сто лет назад город был центром воеводства. Но возвысился неподалеку другой – промышленный, многолюдный. Впрочем, возвысился, но не унизил. Городам, как и людям, каждому свое.

В центре города белеет двухкупольная церковь Александра Невского – в шестидесятых годах в ней прекратилось богослужение, конечно, по воле партии, но и как бы общественности, дескать, ввиду уменьшения числа верующих. Сперва там устроили спортивный зал, но дух спорта оказался чуждым архитектуре, то есть духу культа. После нескольких лет мерзости запустения церквушку облюбовала районная контора «Заготзерно».

Крестовоздвиженская церковь прекратила существование до Великой Отечественной по тем же примерно причинам. В ней обосновалась мельница: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Третий православный храм – Свято-Троицкий – перестал действовать уже и неведомо когда, но во время войны было найдено для него особое применение: складировали одежду расстрелянных евреев.

Имеется католический костел – память влияния и власти Речи Посполитой. Костел этот в свое время объявили архитектурным памятником, решили реставрировать. Набрали рабочих, обнесли строительными лесами, бодро взялись за дело. Злые языки говорят, что давно уже требуется восстанавливать сами леса. Злые, как всегда, неточны и несправедливы.

На территории бывшего мужского монастыря, от которого ныне остались останки стен, расположился маслозавод.

Был в свое время в городе Соборный Николаевский храм, долгое время после войны служивший районным Домом культуры, тоже, однако, пришедший в полное запустение.

Есть следы более глубокой древности – Замковая гора, оборонительные рвы, горки.

Интересно было бы дожить до того времени, когда все это объявят архитектурными памятниками.

Но коротка жизнь.

На окраинах города мирно и добросовестно дымили в голубое небо три заводика – кирпичный и по переработке льна. Ну и, конечно, спиртзавод. Не без этого.

Вот, пожалуй, и все.

Ах, да. Некоторое время назад на западной окраине города, рядом с черемуховой деревенькой Лютня, появился вагончик. Позже возникли какие-то стены. Осторожно выдвинулась труба.

Весной, когда вдруг подует западный ветер, все жители города одновременно повернутся к нему, глубоко вдохнут: цветет в Лютне черемуха!

Сладкими, беспокойными волнами ходят запахи, о чем-то напоминают, куда-то зовут...

А вот однажды вдохнули и... Что это? Отчего? И что там за вагончик уверенно коптит на окраине? Уж не адова ли контора по найму? Ага, понятно: асфальтобетонный завод. Прошло пять-десять лет и – как без него жить городу? Никак. Двадцатый век.

Оставим эту тему. Поговорим – традиционно – о людях и о земле.

Земля в окрестностях города плодородная, небо не скупое на дожди и солнце – люди не бедствуют в нем.

А люди живут здесь приветливые, с твердым пониманием добра и зла, смешного и серьезного, безобразного и прекрасного. Относятся они к своему городу разное: одни говорят, что лучшего места на земле нет и не надо, другие – хуже нет и не надо.

А я иной раз, в порыве сентиментальности на досуге, размышляю о другом: не являются ли они, такие городки, чем-то вроде малых источников с той чистой водой, из которых вырастают реки?

Городок этот – моя родина, а о родине всегда хочется сказать больше и лучше, чем она, быть может, заслуживает.

А написал я все это для того, чтоб вы поняли: мой город не хуже, чем тот, в котором родились или живете вы. И это лишь присказка. Рассказ впереди. Хотя я и не знаю, как подступиться к нему...

Вот, например, имеются в городе свои знаменитости – не обязательно преуспевшие в обществе люди. Пожалуй, наоборот... С детства я привык слышать анекдотические рассказы, точнее, замечания, реплики о неких Митяе-лентяе, Андрюхе-горюхе, Лёньке-шпоньке, Сашке-плюе, близнецах Тишке-Гришке и некоторых иных. В особенности об Андрюхе, которого я почему-то не знал. А к тому времени, когда заинтересовался им, Андрюха давно пропал.

Говорили то о его жадности, то о нелепой щедрости, то об уме, то о конечной глупости. Как ни странно, одно не исключало другое и складывалось в некий образ. Однако, когда я – уже из вполне корыстных побуждений – попытался воссоздать для себя его внешний облик, он оказался слишком противоречивым: одни говорили, что Андрюха был рыжим, другие – конопатым, третьи – маленького росточка, четвертые – прихрамывающим, пятые – святошей, шестые – пьянчужкой, седьмые...

Похоже, что имели на памяти разных людей, такое изобилие примет не может быть свойственно одному человеку.

Я оставил затею написать о нем.

Но однажды в столовой железнодорожной станции, что в двадцати километрах от города, где я ожидал автобус, появился маленького росточка мужичок, рыжий, конопатый, прихрамывающий, явно навеселе.

– Котлета почему? – спросил бойко.

– Тридцать семь копеек, – ответила буфетчица.

– А гарнир?

– Пять.

– А подливка?

– Бесплатно.

– Ну-ка, налей мисочку подливки!

– Ты, Андрюха, – сказала буфетчица, – или заказывай, или...

– Щи!

– Одну порцию или две?

– Две!

– Котлету одну или...

– Две!

– Компот?

Сел и все съел. Опять подошел к буфетчице.

– Налей-ка стаканчик дуроты!

– Ты, Андрюха, и пьешь, как немец, после обеда.

– Конфет вон тех, красненьких, граммов сто.

– Может, двести?

– Давай... – опять согласился.

Одну отправил в рот, остальные – в карман.

В наилучшем состоянии духа вышел на крыльцо столовой, задымил папироской.

– Эй, малыцы! – окликнул игравших рядом детей. – А ну сюда!

Щедро сыпнул в грязные ладошки конфеты.

Один из «малыцов», рыжий и синеглазый, не подошел, лишь весело смотрел издалека.

– А ты что? А?

Парнишка улыбнулся, посмотрел на друзей.

– Он немой, дядя! – крикнули хором. – Глухой!

Подбежал наконец, остановился.

– Немтурок, значит? Ладно. Держи!

Парнишка опустил синие глаза, то ли не доверяя, то ли смущаясь. Так и стояли друг против друга. Тут мужчину окликнули с другой стороны улицы, и он пошагал на голос веселой, ныряющей походкой.

Однако молод был этот Андрюха – лет сорока.

Спустя некоторое время я снова попытался восстановить облик и образ того – из детства – Андрюхи. Но прошли годы, и многие забыли о нем.

Вот простая история, которую мне удалось составить из свидетельств очевидцев, слухов и своих домыслов.

Путники

Первое, что приходит в голову захавшему или забредшему в чужой город человеку – где поесть и переночевать? Для нашего героя такой вопрос не существовал. Где поесть? Там, где застигнет голод. Где ночевать? Там, где застанет ночь. Правильнее было бы спросить, что поесть? Однако и это риторический вопрос: то, что сохранилось в котомке. Знающему ответ любой вопрос кажется риторическим. Благодарением Богу – котомка была не совсем пуста. А если учесть, что город не чужой нашему герою, можно считать, не ожидалось никаких проблем.

Лицо его украшала пушистая рыжеватая бородка, не слишком ухоженная, отпущенная, конечно, не из эстетических соображений, а единственно ради удобства. Встарь такие бородки носили юродивые, богатыри и святые, то есть люди, не особенно заботившиеся о себе. Но самыми примечательными на его лице были глаза – свидетели утверждают, что ни с чем, кроме полевых васильков, сравнивать их нельзя.

Время сообщить, что шел он не один – вел за руку мальчика шести-семи лет, пылавшего веселым золотым цветом вьющихся до плеч волос. Весеннее солнышко щедро и любовно бросило на нос щепоть нежных веснушек, а глаза у него тоже были синие, и мы опять сравним их с парой васильков, но не затерявшихся в далекой ржи, как у старшего, а с придорожными, что обнаруживаешь с опаской у сапога или колеса.

У старшего тоже были веснушки, но другой поры, осенней, – вроде горстки подсохших зерен льна.

Стоял майский полдень. Светило солнце, сияло небо. Пели птицы в пушистых деревьях, и ласкала ступни молодая трава. Но, видимо, путники наши шли давно и долго, если не обращали внимания на окрестное великолепие. Пожалуй, оно изрядно приелось и наскучило им.

Дорога к городу пролегла через холмы. И когда поднимались на последний, за которым должен был открыться город, на лице старшего отразилось волнение, сомнения. Однако еще шаг и – блеснули под изумрудным небом два креста, две маковки, выперлась отрадная глазам пожарная каланча.

– Стоит! – сказал старший и остановился, захихикал, отыскивая другие приметы.

Относились замечание и смешок к церкви, каланче или вообще к городу, остается неизвестным. Думаю, не смог бы ответить на суровый вопрос и сам герой – многие люди, автор в том числе, нервно смеются и неприлично хихикают там, где другие молчат или плачут.

Малец тоже понял, что они у цели, и глядел на открывшуюся картину во все глаза.

Внизу искрилась речка. Сейчас она доживает, похоже, последнее столетие своей жизни, но тогда, в 1946-м, такие мыслишки не приходили в голову – она была чиста, свежа и весело бежала к возлюбленному Сожу. Путники спустились к ней, испили пригоршнями воды, омыли лица. А когда заглянули в торбу, их одинаковые глаза еще повеселели. Что ни говори, а никакая красота не радует душу так, как красота хлеба и сала. Я говорю – *красота*, поскольку путники и прежде знали, что есть в котомке, знание это обнадеживало обоих, но не воодушевляло: перед тем как снять торбу с плеча и развязать шнурок, оба выглядели притомленными. А развязали, заглянули в страшноватую темень, увидели *красоту* и улыбнулись друг другу, даже засмеялись вслух. Старший с хитрой улыбочкой, в которой, однако, опять промелькнуло беспокойство, запустил руку на дно и, пошарив там и взглядом ответив на взаимную обеспокоенность малыша, с видом фокусника вытащил из котомки нож-самоделку с рукоятью, обвязанной тряпичкой, а за ним и хлеб с салом. Причем у обоих в лице было выражение, будто фокус настоящий, будто показывает его сама торба, а не он, Андрюха Соловей, и никто не знает, что вытаскивает рука.

Сказать, что была изготовлена котомка из того же материала, из которого шьют скатерти-самобранки, нельзя. Но, как доказано, обрадовала путников не сущность, а *красота*. В противном случае они, наоборот, не обрадовались бы, а огорчились, поскольку и невооруженным глазом было видно, что если хватит на обед, то не хватит на ужин, да и неясно, хватит ли на обед. Однако, опять же важно, – кроме *красоты*, конечно, – не то, что чувствуешь, голод, например, а что имеешь. Оба они имели опыт, который гласит: «Бог даст день, Бог даст пищу».

Итак, покончив за несколько минут с противоречием сущности и красоты, наши герои еще раз попили воды из чистой реки и живо пошагали дальше.

К сожалению, с этого момента следы их временно затерялись. Автору пришлось немало повидать и понаблюдать людей, чтоб снова напасть на них. Трудно сказать, почему. То ли было в этом городе много подобных следов – и они тотчас слились, совпали, то ли уставший герой сбился с ноги, то ли у автора глаза поначалу плохо разбирали, где чьи отметины – требовались время и терпение разобраться в них.

Слухи

Обнаружить Андрея Соловья мне удалось примерно через месяц после его торжественного прибытия. Я уже начал помышлять о том, чтобы бросить неблагодарный труд, неизвестно зачем предпринятый, куда ведущий, ничего автору не сулящий; мало ли кто мог приближаться к городу тем ясным майским днем, мало куда мог свернуть, полюбовавшись и подкрепившись, да и затеряться в городке с десятитысячным населением тоже несложно. И что за герой, чтобы так уж искать его? Без роду, без племени, без социальной определенности... Так, пожалуй, и затерялся бы, если бы не рыжие кудри, синие глаза да звонкий голос – приметы если не легкой жизни, то веселого нрава. Может, и сгинул бы, кабы не малец рядом с ним с точками цветочной пыльцы на бледной рожице. Или кабы не...

Одним словом – нашелся!

Поначалу доходили о нем только слухи. Ну, например, будто, поднимаясь на холм, на котором расположился город, встретил женщину по кличке Самовариха, известную неуживчивостью, сварливостью. Шла она от криницы, несла воду на коромысле.

– Помираю, Калиновна, – будто бы сказал Андрюха. – Пить хочу!

Никогда до того Самовариха никому не давала ни снега зимой, ни воды летом, не даст и теперь – не суйтесь, но вот нашла на старуху проруха, скинула с плеча коромысло – на, рыжий черт, пей, дьявол с тобой, с дураком, олухом, обормотом, балбесом, босяком, лаптем, цыганской кровью, конокрадом, пей, прорва ненасытная, бабник, кабан вылегченный, жеребец стаенный, мерин, баран круторогий, козел вонючий, кот паскудный...

И пока она его костила, Андрюха пил, втянув шею в плечи, а голову сунув в ведро. Она захлебнулась – и он вроде замер, она с новой силой пошла на второй заход, и он уверенно загулял кадыком. Люди начали собираться около них.

– У тебя все? – выглянул, наконец, Андрюха. – И у меня все!

Заглянула Самовариха в ведро, а там – синице не напиток.

– Ах ты скот, ах ты конь колхозный, жук навозный, ах ты...

Заработала языком, как мельница, что недавно опять запустили в городе, затрясла коромыслом, как припадочная, но Андрюха был уже далеко: весело припадая на раненую ногу, хихикал, угукал, вытирал нос рукавом.

Пришлось Самоварихе возвращаться. Не идти же по городу с одним полным на коромысле и одним пустым? Две недели, говорят, после того успокоиться не могла, всех соседей заела, а больше всего досталось, ясно, мужику, Максиму. Впрочем, Максим язык ее видал на самой высокой колокольне, он будто в тот же вечер разыскал Андрюху, сказал: «Допек ты ее до печенки и селезенки. Родной ты мне человек!»

Был, как обычно, навеселе.

Или потешались над тем, как Андрюха бил кабана, занемогшего среди лета, у некой одинокой женщины. Будто согласился с охотой и радостью, женщина приготовила корыта и кадки, но утречком Соловей что-то уж слишком долго точил ножи, чесал жертву за ухом, гладил по брюху, слушал жалобное похрюкивание и вдруг вышел на волю. Стал уверять, что кабанчик здоров, что жалко бить, если не дотягивает трех пудов, предложил несколько верных способов лечения и, ясное дело, уговорил хозяйку.

А к утру кабанчик сдох.

– Как же ты воевал? – будто бы спрашивали мужики.

– Я ж их, поганых, за ухом не чесал, – будто бы отвечал.

Или рассказывали, как бабы наняли Андрюху пасти коров, а он, встретившись на пастбище с другим таким же примерно стадом и таким же – уж это точно – пастухом, Федькой-дурачком, подружился с ним и к вечеру пригнал в город чужое стадо, а главное – быка в нем.

Когда следующим днем – натурально, без стада – Андрюха пошел проведать Федю, тот глядел угрюмо и дружить отказался: во-первых, в деревне Федю слегка побили, во-вторых, решил, что Андрюха нарочно это подстроил. Известное дело, ненормальный.

Бабы, когда поостыли, удивлялись: как им удалось завернуть коров в другую сторону? Обыкновенно копытят домой вечером – на дороге не становись. «Уж не сахаром ли прикормил?» – интересовались. И были недалеки от истины – солью, известным лакомством для буренок, пару пачек которой Соловей прихватил, намереваясь подружиться и со скотиной, и с хозяйками.

Интересен также рассказ о сватовстве Андрюхи. Вообще-то сватовство произошло не по правилам, Андрюха согласия на него не давал, тем более – не просил. По правде говоря, просто перепили мужики. «Как? Нашему брату-фронтовику и жить негде? Лучшую бабу в городе сосватаем, с домом, с огородом...» Лучшей бабой оказалась Юзефа Хвантовская. Достоинства ее в самом деле трудно было перечислить. И не только хозяйственного характера: красивая была. И богатая. Дом с мезонином одна, без мужика, уже после войны поставила. Хотя мужики около нее всегда крутились, особенно один пчеловод по кличке «вечный жених», – даже за него не шла.

Сказано – сделано. До восьми сидели в закуской, той, что в городском парке, у Изи Либанова, а потом отправились. «Ой, хлопцы, – покачал лысой головой Изя. – Жарко вам будет». «Молчи, дурак, – ответили. – Жарко было под Курском. Ты души нашей славянской не понимаешь».

Рубидон взял гармошку, Максим – бубен, Адам пел частушки и пританцовывал. У Рубидона не было ноги, Максим бил в бубен кульпяпкой, а Адам имел ранение в голову. Он, кажется, и заварил кашу. Из закуской выходили втроем, но увязалось человек двадцать зевак. Шли громко, медленно, с музыкально-танцевальными паузами, короче, пока добрались, «пани Юзефа» уже поджидала их. Обнажив могучие икры, она разъяренно мыла крыльцо для дорогих гостей. Завидев приближающуюся толпу, распрямила широкую спину, уперла руки в крутые бока. Сваты было смешались, но отступать некуда – Максим и Рубидон рванули «страдания», а Адам пошел колесом около крыльца.

– Ставь водку, Юзефа! – крикнули из толпы. – Сваты пришли!

Хвантовская только свела широкие брови.

Пора бы, наверно, уже и остановиться, застегнуть меха гармошки и опустить бубен, но Адам все ходил то вприсядку, то ковылял гуськом перед Юзефой – видно, больше, чем другим, капля попалась.

– «К нашей царевне, к нашей королевне!..» – наконец прокричал он, а когда ступил разбитым сапожищем на ступеньку, Юзефа решительно взмахнула половой тряпкой.

– Назад, – сказала спокойно.

– Юзефа! – удивился Адам. – Мы тебя взаправду сватать пришли!

– Назад!

– Ох и дура ты, Юзефа, – сказал Адам. – Чтоб тебя рожевские волки сватали...

Рожево – лесная деревня неподалеку от города.

– ...чтоб тебя...

Но договорить не успел.

Возвращаясь, играли, били в бубен еще веселее, злее, однако на том сватовство закончилось. «Изя! – сказали на следующий день, когда Либанов выставил бутылку за свой карман. – Славянская у тебя душа!»

А что касается Юзефы, то баба есть баба. Целила тряпкой в Адама, попала в Максима. Чуть не свалила человека с ног. Известное дело, не православная была, католичка.

Или, например, рассказывали, будто появился Андрей Соловей в городе, придерживая одной рукой мальчика шести-семи лет, а другой – петуха на веревочке; малец всем улыбался, с кем заговаривал отец, а петух грозно клекотал и хлопал на чужих крыльями...

Или будто вовсе не летом, не пешком со стороны речки пришли они в город, а прикатили со станции на полуторке. Машина остановилась у чайной, где столовались шоферы и прочий дорожный и бездомный люд, и Андрей Соловей, замерзший до синевы, с ребенком, закутанным в лохмотья, прокричал из кузова:

– Что за город?

Такой-то, ответили.

– У вас какая власть? Советская?

– Советская.

– Слезает, Тишок! Приехали. Здесь наших не бьют!

Но это уж слишком недостоверно – вроде как каждому городу по штату положено иметь своего мудреца и своего простофилю. Соловей не был ни тем, ни другим – это молва представляла его в таких образах, а иногда просто путала за давностью событий с другой городской знаменитостью – дурачком Федей, который опять же никогда дурачком не был. Дурачком его называли люди, уважавшие себя сильнее, если презирали кого-нибудь, ну а Фёдка все это во

внимание не брал – сам никого особенно не уважал, не презирал, жил как нравилось. О нем, Федьке, речь впереди.

А что касается всех этих малодостоверных историй, то их можно было бы не приводить здесь, если бы не одна деталь: в каждой из них, кроме Соловья, присутствовал этот малец, его сын, пасынок или кто еще?

Челобитый

Навел меня на следы Соловья еще один веселый человек, бывший городской художник Антон Антонович Челобитый. Что значит «городской художник»? Значит – оформитель красных уголков, рисовальщик плакатов и транспарантов, копировщик портретов вождей, а для статуса – учитель рисования в одной из школ. Я знал его со школьных лет, хотя учиться у него не пришлось, да и кто не знал Челобитого в нашем городе? Его костлявая фигура с длинной беспокойной шеей и пепелящими глазами пророка, стремительная, ныряющая походка, рассеянность, слова и поступки были притчей во языцех и школяров, и взрослых. Что-то было в нем величественное и жалкое, все мы слегка побаивались и презирали его, однако, если случалось оказаться объектом внимания этого человека, захлебываясь, рассказывали о том другим. И чем нелепее получался рассказ, тем больше успеха имел рассказчик, хотя и знал каждый – не так это, не так... Что-то в Челобитом летело, спешило, гнало вперед даже тогда, когда торопиться было некуда. Шел в школу – пролетал мимо школы, направлялся в магазин – оказывался в двух кварталах за магазином, возвращался домой – пробегал мимо дома. Чего-то не ощущал – то ли времени, то ли пространства. Импульсы странного веселья исходили от его движений, выражений – хотелось строить гримасы, улюлюкать и бежать следом. Но от тех же выражений исходили сигналы опасности и непонятности, что держали нас на расстоянии от него.

Любимым времяпровождением его было носиться с этюдником по холмам, окружающим город. Но рисовал Челобитый мало. Были у него излюбленные места, где открывалась панорама окрестностей, и там он, вместо того чтоб установить треножник и разобрать краски, застывал, вытянув шею, словно наслаждался, будто принимал воздушные, а точнее, небесные ванны, и стоять так мог час и два. Спускаясь с холма, выглядел утомленным, словно одинокое общение с небом стоило огромного напряжения и труда.

Помнится, он насмешил, удивил и рассердил многих жителей, в особенности городское начальство, одной причудой. Дом культуры предложил ему расписать «под орех» колонны и стены фойе. Рядовому маляру работы там было на три дня, Челобитый сидел взаперти три недели. Наконец, закончил. Посмотрели – приняли. А через несколько дней разобрались, что в разводах по колоннам и стенам угадываются контуры неких странно прекрасных женщин, едва ли не богинь. Еще через неделю поняли, что женщины эти – местные, свои. И главное, не такие, какими были в действительности, а... «Что это значит?» – спросили в исполкоме. «Люблю их». – «Любите?..»

Вызвали маляра со строительного участка, перекрасили в голубой цвет.

Учитель, конечно, Челобитый был неважный: не умел держать дисциплину, понятия не имел о методике. На уроках маялся, всем ставил четверки и пятерки, а звонок воспринимал как личное освобождение. Вот разве выскакивало какое-либо смешное положение, шутка – Челобитый бесконтрольно всхрапывал и заходил не хуже последнего двоечника. Удивительное выражение проступало на лице: вот истина! вот откровение! А вы?..

Учительство отнюдь не было призванием Челобитого, но, как сказано, люди в городе жили добрые и его терпели.

Между прочим, поговаривали, будто он читает мысли в глазах.

Во внешности его была еще одна особая примета: едва прикрытая кожей, опасно пульсирующая в минуты волнений вмятина с левой стороны лба – следствие ранения, полученного в конце войны. Возможно, отсюда и происходили чудачества.

От бывшего православного монастыря после освобождения города осталась одна колокольня. Я ее плохо помню, но, говорят, – красивая. Несколько лет торчала среди руин на окраине города, одинаково соблазняя созидających и разрушающих, и, наконец, дождалась. Приехали подрывники, собралось множество зрителей. А за несколько секунд до взрыва в оцепление прорвался Челобитый, как будто его терзали собаки.

– Люди! – завопил он. – Что вы делаете?!

Подрывники заломили ему руки, потащили в сторону.

Дальнейшее скрыл грохот и тучи пыли.

Знали Челобитого в городе все, но здоровались немногие: не отвечал на приветствия, не смотрел в лица. Люди не обижались, «с приветом» человек, не помнит и не узнает никого.

«А почему бы одному странному человеку не знать другого?» – подумал я, когда мои поиски Соловья зашли в тупик.

Впрочем, к этому времени странности Челобитого сгладились, выглядел он обычным одиноким старичком.

А может, и не было в нем ничего необычного? Может, не в силах осмыслить не похожую на других личность, люди назвали ее странной и таким образом отвязались? Есть правила и есть примечания. От примечаний никуда не денешься, но их набирают петитом.

Мы встретились в магазине с молочными бидончиками в руках.

– Я хотел бы заглянуть к вам, – тихо сказал и дрогнул: опалил меня не изменившимися за тридцать лет глазами.

– Кто вы?

Я назвал.

Нет, опустил глаза, не вспомнил. И вдруг сказал:

– Если насчет Соловья Андрея, то я не помогу вам.

Дар речи в ту минуту оставил меня. Ведь говорили, говорили, что читает мысли людей! Именно потому, дескать, избегает смотреть в лица. И прав, конечно: сам по себе человек не плох, да как вынести его сиюминутные мысли? Добро в человеке молчит, не разменивается, таится до важного случая, а зло копошится поверху, лезет во все дырки, орет, пищит, скачет...

Но через минуту успокоился. Никакой мистики. Слухом земля полнится, а я уже спрашивал о Соловье не один десяток людей.

Стоял и смотрел вслед. Прежде говорили, если Челобитому надо освободить правую руку, не перекладывает сумку в левую, а просто роняет. Но нет, рассчитался у кассы, не расплескав молоко, повернул, где нужно, побрел ни быстро, ни медленно. Вот только палкой ощупывал дорогу впереди, как слепой. Впрочем, стояла зима, оттепель, гололед. В фигуре его почудился некий знак вопроса, недоумения. Но, опять же, к семидесяти годам накапливаются не только вопросы к жизни и людям, но и соли в позвоночнике. Ох, как велик соблазн опять объяснить по принципу странного. Нетрудно, приятно, и видимость постижения налицо.

Он жил в маленьком домике, лепившемся на краю оврага, точнее, огромного оборонительного рва, окружающего теперь прах когдатошнего княжеского величия. Дом обшелеван, покрашен, по возрасту ему было явно лет сто: строился на почтительном расстоянии от обрыва, однако постепенно весенние и осенние воды рушили берега, и вот уже обнажились дубовые сваи – фундамент. Холодели конечности, если посмотреть вниз, представить, как... Тут я почувствовал взгляд, обернулся и увидел насмешливый взгляд Челобитого.

– Не волнуйтесь, – сказал он. – Успею.

«Что успеете?» – чуть не спросил я.

– Успею покинуть это пристанище.

Вот и насмешливости прежде не водилось за ним. Я озабоченно промолчал.

– Ладно, заходите... Но я сказал: вряд ли смогу быть полезен. Не смущайтесь. Читать мысли не буду: не умею, это мне зря приписывают. Умею читать только хитрости, но и другие умеют, только не признаются...

Не без труда, но твердо он поднялся по ступенькам крыльца, открыл дверь. В сенях было чисто, а в доме – тепло. Несколько картин с очень знакомыми пейзажами висели на стенах, на самодельных полках стояла сотня-другая книг. Я хотел рассмотреть картины, но только сделал к ближайшей шаг, как старик опередил меня и перевернул изображением к стене. Чтоб не усиливать комизм, я не стал рваться ни к другим картинам, ни к книгам, хотя имею привычку совать нос. Может быть, это действительно неприлично, и старик преподал мне урок?

Смотрел он мрачно и не вызывал симпатий у меня, но уж раз пришел... Надо было расположить старика к себе.

– Антон Антонович, – начал я подготовленную речь. – Я знаю вас очень давно. Вы были непонятным для меня человеком, но я всегда уважал вас...

– Не хитрите, – прервал Челобитый. – Вы меня боялись и презирали.

– Неправда, – с энтузиазмом возразил я. – Дело в том, что...

– Правда. Я знаю, как ко мне относились дети.

– И все же иногда мы восхищались вами.

– Это другое дело, – проворчал старик, но, кажется, подобрел. – Что вы хотите от меня?

Предупреждаю: об Андрее ничего говорить не стану.

Да, твердым оказался орешек. Я терпел поражение.

– Ну... тогда мне остается уйти.

– Идите.

Но когда я надел шапку и взялся за ручку двери, Челобитый сказал:

– Подождите... Зачем вам понадобилось писать о нем?

– Не знаю... Мне подумалось, это было бы интересно...

– Интересно? – переспросил с издевкой. – Кому?

– Мне... Людям...

И тут Челобитый оглушительно захохотал и сразу стал тем молодым, который восхищал и пугал нас.

– Интересно!.. Ему!.. Людям!

– Что в этом смешного?

– Все!

– Ладно, бог с вами, – смиренно сказал я. – Скажите хотя бы, где вы познакомились с ним?

– Где?.. – опять прожег меня взглядом. – Пожалуй, скажу. – Подскочил к окну, рванул заклеенные на зиму рамы. – Там!

В холодном небе парили две маковки церквушки.

«Уж не выжил ли старик из ума?» – подумал я.

Явление Соловья

Итак, наконец, Андрей Соловей объявился – вполне реально, достоверно, физически. Ранним утром, за неделю до праздника Ивана Купалы.

И где?

Именно там, где указал Челобитый, – на маковке городской церкви. С кистью в одной руке, ведерком краски в другой, привязанный пеньковой веревкой за основание креста.

Боязливо поглядел вниз, покачал головой. Там, внизу, росла зеленая травка и сидел пацан, задрал голову вверх.

Оглянулся на соседний купол, поменьше, – на его маковке тоже сидел человек и тоже не слишком смело смотрел вниз.

– Антонович, – сказал Соловей, – ты знаешь, где рай находится? Не знаешь? Во-он на том облачке. Там и встретимся, если загремим.

– Не знаю, как в рай, а с работы загремлю, если начальство увидит, – весело отозвался Антон Антонович.

Город спал, и в утренней тишине голоса их звучали замечательно ясно.

Еще один человек ходил внизу – старый, худой, в исподней рубахе и латаных штанах – то был хозяин церкви и прихода отец Иван. Он беспокойно глядел на восток, где на горизонте копились тучки.

– Как вы думаете, хлопцы? – спросил. – Будет дождик или нет?

– Нет, не будет, – уверенно ответил Соловей. – А если будет, то маленький. – Помолчал и добавил: – А может, и ладный соберется...

Антон Антонович тотчас радостно засмеялся.

– Ноги что-то ломит, – пояснил отец Иван. – И мозоли рвут... Красиво оттуда глядеть? – спросил с завистью.

– Ничего. Только на земле лучше.

– А я уже и на колокольню не поднимусь.

Отец Иван прослужил богу и людям в этой церкви всю жизнь, а недавно почувствовал, что она, эта жизнь, кончается. И захотелось ему сделать перед смертью что-то такое – простое, но чтоб люди вспоминали добрым словом. Однако, что может старый человек в этом мире?

Он одиноко жил в маленьком домике на церковной усадьбе, грустно глядел в окошко на облупившиеся за время войны купола, стены. Он был уважаемым человеком в городе, его отношения с людьми были проще, чем с богом.

Нет, он не хотел становиться священником. Но его судьба была решена с рождения: у отца и матери один за другим умирали дети и, когда зачался очередной, дали обет посвятить его жизнь богу, иже смилуется.

Стройным семнадцатилетним юношей со звонким голосом, девичьим лицом и безутешной печалью в сердце ехал он сюда, в город М. на приход, куда его рукоположили после окончания семинарии. Не утешала даже юная жена – Анна, нежная, верная, единственная женщина на всю жизнь.

Но, подъезжая к городу со стороны речки, поднявшись на последний пригорок, вдруг ахнул, остановил лошадку, встал на телеге на ноги – поразил в самое сердце зеленый городок с белоснежной церковью посередине, а главное – луковичными куполами, крашенными небесной лазурью.

– Аня! – тронул дремавшую подругу. – Аня!

Давно уже Анна упокоилась под православным крестом.

И однажды, вспоминая обо всем этом, он понял, что может и еще в силах сделать: оставить землю – этот ее уголок – в таком же виде, в каком была тогда, пятьдесят лет назад.

Купил мел, добыл с немалым трудом и краску – ту самую небесную лазурь, но вдруг остановился перед выбором для работы людей. Одни боялись высоты, другие начальства (церковь красить – не красоту в Доме культуры наводить), третьи по каким-то иным причинам казались неподходящими. Время между тем шло, и здоровье убывало.

Пришел однажды в дом к художнику Челобитому, поклонился в ноги.

– На тебя надежда, Антон Антонович, – сказал. – Умру скоро.

– Неверующий я человек, – ответил Челобитый.

– Неправда это, Антон Антонович. Кажется тебе, что неверующий.

– Нельзя мне, отец Иван: учитель я.

– Бог поможет, Антон Антонович. Вот увидишь. Одним разум отворит, другим глаза и уши закроет.

Когда приблизились к церкви, увидели двух незнакомцев – мужчину и мальчика. Оба, задрав головы, глядели вверх. Глянул отец Иван на рыжих и синеглазых и вдруг радостно сказал:

– Вот тебе помощники, Антон Антонович!

Так Андрей Соловей очутился на куполе церкви летним днем того трудного года.

– Начнем? – сказал и осторожно обмакнул кисть в краску. – Ох, красота.

– Красота! – подтвердил Антон Антонович.

– Красота, – отозвался отец Иван.

И наступил уважаемый в тех местах и в то время праздник Иван Купала. Выпал он на воскресенье, красный день.

Девушки бросили свои венки в воду, и ни один из них не запнулся, не потонул. Парни зажгли на лугу костры.

Женщины дарили, а девственницы сулили женихам свою любовь.

В городской больнице родились три девочки и три мальчика.

И ни один человек не умер в ту легкую ночь.

Андрей Соловей и Антон Антонович закончили работу, отмывались от побелки и краски, а отец Иван стоял, глядя на купола, сливавшиеся с бирюзой неба. Какие-то слова из писания хотелось вспомнить ему. Ах, да: «Это хорошо».

Звонарь Игнатий полез на звонницу и через минуту ударил в три колокола. Люди посмотрели на церковь и обрадовались.

«Радуйся, невесто невестная!..»

Не в вере дело, в Начале.

Зазвенели топоры и пилы после Ивана Купалы.

Плотники опять стали самыми уважаемыми людьми в городе. А еще печники, кровельщики, столяры, стекольщики, гончары, сапожники...

Легенда о серебряном рубле

И опять затерялся Андрей Соловей в тихом городе с кривыми улочками и деревянными домами. Опять пошли всяческие нелепицы о нем, рассказы, анекдоты.

Например, будто подрядился однажды чистить колодцы в городе, что, понятно, привлекало множество ребятни с окрестных улиц, и, выдав на-гора десяток бадей песка и мусора, крикнул, чтоб вытаскивали его самого. Выехал, как именинник, из темной прорвы, вылез, как фокусник. «Ну-ка поглядим, что я нашел?.. Ого... Клад!» И подбросил на солнышке что-то блестящее, круглое. Рассмотрели – серебряный рубль, тот еще, дореволюционный, царский. «Эх, жаль, не золотой! – сказал. – Серебро – святой материал». И бросил обратно в колодец.

Между прочим, тот колодец славился лучшей водой в городе. В серебре дело или еще в чем, трудно сказать, но факт. Рубидон обругал Соловья, сказал: «Дурень. Либанов три бутылки за такой рубль даст». Сам полез в колодец со своим протезом, два часа шарил в потемках – не нашел.

В детской молве серебряный рубль быстро обернулся золотым, и так молва жила много лет. Колодец этот всегда чистили первым, выгребали песок до камешков – может, потому была вода в нем самой чистой и вкусной... Но никто больше той монетки не видел. Забылась легенда лишь только тогда, когда засыпали колодцы песком и построили на каждом углу колонки.

Тот же Рубидон спустя время говорил, что все камешки перебрал, значит, обмишурил его Соловей, не бросил целковый. Скакнул рублик в карман.

Но вот же искали люди этот серебряный или золотой, значит, верили, что Соловей мог такое сделать, что на него похоже...

Или рассказывали, как Соловей победил его, Рубидона, чемпиона городской парилки. Будто скатился Рубидон сверху на одной ноге как ужаленный и потом полгода вообще в баню не ходил, чтоб не срамиться, даже Изю Либанова перестал навещать, едва вообще пить не бросил.

Однако сам Рубидон, когда я обратился за справкой, мрачно ответил: «Брехня. Меня пересидеть только Григорьевна могла». – «Кто?» – переспросил я. И Рубидон удивился: выдал нечаянно какой-то секрет. Захихикал, сказал: «Вышел один раз такой спор...»

Ох, есть еще нераскрытые тайны в городе!

Однако куда все же запропастился мой герой?

Заколотив деньжонок на красоте и религии, отправился с мальцом в иные края? Прижег к солдатке и тихо зажил, неотличимый от остальных десяти тысяч жителей городка?..

Или не стало слышно о нем потому, что временно исчез как собирательный образ? Может, и вправду появлялся он на слуху у людей, когда происходило что-то нерядовое, совсем не рутинное или хотя бы нелепое, а для осмысления факта требовалась такая же личность?

Я и сам иной раз, когда приходит в голову необычная мысль, приписываю ее кому-либо из знакомых и тем как бы сообщаю дополнительную убедительность, объективность...

Может, не искать его? Придумать остальную жизнь? Тем более что и ключик вроде бы есть.

Вот опять рассказывали... О том, как устроился Соловей перевозчиком на реке – во время ледохода снесло мост, соединявший город с деревнями, – и как его, Соловья, с лодкой едва выловили пятью километрами ниже; или о том, как нашел Соловей борону и затащил на липу, чтобы аисты устроили гнездо, а борона принадлежала хозяину того дома, что стоял под липой... Как стаскивал обратно, а внизу собрались люди со всей улицы и, разумеется, показывались со смеху.

Липа была старая, метров тридцать самое малое, а крона – неба не видать. Соловей копошился в сучьях, как нашкодливый кот.

– Соловей! – кричали ему, когда сидел на макушке и ломал проволоку, которой на совесть прикрутил борону к сучьям. – Москвы не видно?

– Андрей, у Максима борона тоже плохо лежит!

Но Соловей не сдавался.

– Матвей! – кричал хозяину бороны, позеленевшему от злости и позора. – Неси табачку, покурим!

А всем было известно, что Матвей по воскресеньям сидит на базаре с самосадам и родному брату без пятачка закурить не даст.

– Семен, Москвы не видать, а бабу твою вижу.

Между тем баба Семена сбежала от пропойцы впрочки, то есть куда глаза глядят.

– Матвей, ты не здесь в партизанах сидел? – В городе поговаривали, что партизанский отряд, в котором находился Матвей, больше отсиживался в лесу, чем воевал.

Вот такие шуточки.

Хотя, пожалуй, история с бороной действительно имела, как говорится, место. По крайней мере, когда я поинтересовался у Матвея, тот глянул на меня как на врага.

Дело в том, что – по слухам – аисты все же устроили гнездо на липе. Никогда не было, а тут на тебе. Матвей и рогачами, и камнями в них бросал, из рогатки, как малое дитя, шмялял, обухом топора по стволу шмякал, костер под липой раскладывал – чуть дом не спалил, а когда решился и полез на липу, аист так клюнул его сквозь гнездо, что пикировал Матвей, как бомбардировщик, на свою соломенную крышу. А если б обжился к этому времени, успел накрыть дом жестью или шифером?

Понятно, уличная общественность не была в стороне от такого кино. Так и звали лет пять: «Матвей, которого бусел клюнул». Потешались: «Прямо в темя? Вот гад. А если б в зад?» А те, кому и этого казалось мало, говорили, что и такое было, правда, уже на лету.

Кто-то сказал Матвею, чтобы гнездо не разорял, потому что – всем известно – принесут аисты головешку, бросят на соломенную крышу и – будь здоров, дыши свежим воздухом. Матвей тотчас крышу перекрыл жестью. Но тут аисты сами пропали, видно, наскучило глядеть на этого человека, переселились.

Известно, что придумка подчас выглядит достовернее самой правды.

Но то – в руках Мастера, то есть народа. А у подмастерья не хватит для такой задачи ни ловкости, ни воображения. Подмастерье должен в поте лица и беспокойстве работать. Если, конечно, надеется когда-либо заслужить одобрение Мастера.

Потому я не стал фантазировать, а снова отправился к А. А. Челобитому.

В этот раз Антон Антонович менее сурово глядел на меня из-под кустистых бровей. Поизучав негордый мой вид, послушав нетвердый голос, сказал:

– Сходи-ка ты к Гришке Царькову. По-моему, они вместе дом перебирали одной женщине...

Между прочим, ту картину на стене Челобитый опять перевернул. И сидел так, чтобы в любое мгновение успеть преградить дорогу к ней. Но поинтересоваться содержанием прямо я не решился: все же мрачно глядел, хотя и несколько притушил пророческий блеск в глазах.

Поначалу никто не обращал внимания на то, что парнишка Соловья Андрея чем-то отличается от других мальцов его возраста: то ли дичится, то ли излишне стесняется, то ли... За месяц никто не слышал, как говорит, смеется или хоть плачет.

Поначалу приятели Андрюхи другим были заняты: где достал рыжика? И верно: будь девка с дитем – ясно, а мужик? Или – когда успел? До войны, помнится, не женат был, на фронте этим заниматься некогда, да и по возрасту парню не три и не четыре года, а шесть-семь.

– Чего удивляетесь? – говорили другие. – Вон Гришка-Партизан! В каждой деревне оставил по байстрюку.

– Так то Партизан!

Или подобрал чужого? Но зачем? Опять же – будь девка, баба или хоть мужик с семьей – ясно, сколько ныне детей в чужих семьях спасаются? Но если у мужика – ни кола ни двора, ни гусяного пера?

Правда, могло быть, что подарил мальчика какой-то молодке на стороне. Появился Андрюха в городе года за три до войны, так что очень на то похоже. А после войны заглянул туда, где согрешил, и... Как сироту не пожалеешь?

Сам Соловей посмеивался. Какая, дескать, вам разница? Мой, и все тут. Но чаще друзья-приятели склонялись к тому, что не родной он сын Андрюхе. Не такие у них были отношения. Родному – нет-нет да и влепишь, откуда ноги растут, а эти словно боялись обидеть один одного. Только и старались друг другу угодить. Не бывает такого между отцом и сыном.

– Чего это он голоса не подает? – спросил однажды Рубидон. – Или немой?

До сих пор никому в голову не приходило, малец как малец, улыбается, смотрит весело, но тут увидели, как отлила кровь от лица Андрюхи, и все поняли. Вот тебе и штука.

А разговаривал с ним Андрей как со здоровым, нормальным. И, казалось, малец все понимал. По губам, конечно, читать не мог – по глазам догадывался. Да и ни о чем таком не говорили. «Что, Тишок, перекусим?» Как не понять, если штаны с живота сползают?

Тишкой, Тишком его называл. А зачем, спрашивается, такому имя? Разве для метрик, для других людей...

Впрочем, это уж не мой рассказ, а известного городского плотника Григория Царькова.

Григорий Царьков и Яков Пустыльцев, плотники

...Я, вам скажу, Соловей не прочь был на чужом горбу в рай въехать. Я тем летом одной женщине – да вы ее знаете, возле костела живет, доктором работала – дом взялся перебрать. Я плотник был лучший в городе, сперва шли ко мне, а потом к Яшке Пустыльцеву. И сейчас зовут еще, да силы нет бревна катать. Приходит, значит, раз этот Андрюха Соловей – возьми, говорит, в помощники. «Что умеешь?» – «Все», – отвечает. А я по глазам вижу: стропило от мауэрлаты не отличит. Я, вам скажу, по глазам многое понимаю. Что думает человек, чего хочет. Вас тоже понимаю, хоть мне семьдесят годов, а вам, видно, под сорок. Надо вам, чтоб он, Соловей, хорошим оказался. Как на иконе, а? Я вижу. Люди всю жизнь моего глаза боялись. Начнет говорить который, я – ничего, слушаю, в землю смотрю, а позже, когда уже думает, обхитрил, задурил, я – раз – и гляну. Капут на месте преступления. Думаю, гипноз у меня есть. В городе один только Челобитый мог со мной выстоять. Когда его, Челобитого, поперли с работы за то, что церковь красил, я позвал дом одному военному рубить. Военным я начальство называю. Два месяца рубили – ни одного слова, может, не сказали. Люди, когда ругаются, столько слов перепортят, что... А мы только глянем один на одного: я на него, а он на меня. Потом он на меня, а я на него. И все! Сильный мужик, это правда. Дом срубили военному, как царю. Он потом Челобитого опять на работу устроил...

Говорят, у меня глаз дурной, на скотину сурочливый. Неправда. Животина не человек, вины не имеет. Хотя вообще могу. Корова от моего глаза околет через три дня, конь через неделю, а если овца там или пороса – говорить нечего. Уложу сей секунд, – весело посмотрел на меня. – Могу свалить, а могу и вылечить. Все от человека зависит, не от скотины.

Да. Ну, ладно, думаю. Оттаскивать будет, подтаскивать. Вдвоем как-никак сподручнее. «Приходи завтра с инструментом». – «Нет у меня инструмента». Видали лапчатого? «Ладно, – говорю. – Приходи так. А сейчас возьми ведро да полей штандары, чтоб не рассохлись». Гляжу – несет. «Одно ведро или два?» – «Шутишь? – говорю. – Половину на каждую. Иначе размокнет». Поливает. Уж не смеется ли, думаю, надо мной? Это ж какому надо быть олуху? «Хватит, – говорю. – Теперь шнурком обмотай, чтоб не разбухли». Взял шнур, но, правда, не решается, соображать начал, не дурак же. «Ладно, говорю, мастер-пепка. Иди-ка руби ухо». Это уже я всерьез. «Какое? – спрашивает. – Левое или правое?» – «Да хоть какое». Поплевал на руки, стоит. «Ну, чего?» – «Шапку сыми». – «Зачем?» – «Жалко шапку». Теперь он, значит, шутит. «А ты свое», – говорю. «Свое тоже жалко. Твое бы рубанул, волчье», – и пошел. «Стой, – говорю, – филия-простофиля. Не понимаешь, когда всерьез говорят, когда смехом...»

Я эти испытания устроил не для того, чтобы понять, какой он мастер, а для него самого. Чтоб знал. Правда, взять пришлось: с руками, с ногами, и то ладно...

Кормились они вдвоем с этим байстрюком Тишкой у хозяйки. Какой он ему сын? Не хочу слушать... Договаривались харчи на двоих, только уже на другой день хозяйка три миски поставила. Ну и опять же – малый, надо ему киселя налить или чего там... Я не против. Только доводил он меня... Сядет, к примеру, за стол со своим байстрюком, зачерпнет ложку и – раз! – пронес мимо рта. Что мальцу смешно – понятно, ну а хозяйка чего?..

Или увидит знакомого, кинется вроде как поздороваться за руку, а сам руку в карман и пошел мимо. Обижались, думаете? Стоят, смеются.

Я считаю, народ смешить не надо. Сегодня посмешишь, а завтра поплачешь. Народ – он такой. Да и вообще человек, я вам скажу, скотина. Да что я говорю? Скотина в баню не ходит – от нее теплом пахнет, человек две недели не помоется – чертом.

Бороду себе рыжую отрастил... Тьфу!

Ладно, кое-как работали. Пришло время рассчитывать, а у хозяйки денег нет. Туда-сюда кинулась – у кого возьмешь? Это сейчас у каждого на книжке по три тысячи... «Чего

людей нанимала?» – спрашиваю. «На брата, – говорит, – надежда была...» На брата, видишь. «Может, на свата?» Молчит, плачет. Тут-то он, Соловей, и отблагодарил меня. «Ладно, – говорит, – хозяйка. Разбогатеешь – рассчитаешься». Ясно, после такого расчета все стали его звать, а не меня. Человеку хоть в хлеву жить, только задаром. Ну и наработал... Потом они его повспоминали – когда угол потянет, оконная осада вылезет... Можете у Костика Бельчакова поинтересоваться, как он ему дом строил...

Вот что умел делать, так это дудки. Всю городскую шпану снабдил. Дудели с утра до вечера.

Или... У меня детей никогда не было, я их, прямо скажу, видеть не могу, а тут сердце кровью обливается: я перерыв объявлю, чтоб покурить, отдохнуть, а он дудку достанет и мальцу играет, а малец-то глухой! Издевался, что ли?.. И главное, тот слушает... Или ненормальный был?

А потом мы с ним разругались. Какая разница почему? Разругались, и все...

Больше ничего Григорий Царьков о своем знакомстве с Андреем Соловьем не сказал.

Далее я обратился к человеку, которого упомянул Царьков, ко второму плотнику города Яшке Пустыльцеву.

О его когдатошнем соперничестве с Царьковым я слышал много. Выражалось оно в разном: и в том, кто больше денег заколотит за лето, и кто кого перепьет в праздник, и кто быстрее девку заведет в Лютню (там березнячок был подходящий), а главное, конечно, кто первый плотник, а кто второй. Вот этого не выяснили за жизнь. Был случай выяснить – два дома рубили рядом: размеры одинаковые, бревна из одного леса, хозяева-подсобники молодые, хваткие, в одно время начинали, в одно заканчивали, – последнее строило поставили, оглянулись – топоры в одном положении.

Будто вечером за бутылкой встретились и решили другим путем определить, кто мастер, кто подмастерье: руку на колодку и топором меж пальцев. И вот Царьков вроде бы пять раз ударил и не поцарапался, а Яшка заволновался, тяпнул – двух пальцев нет. Так и вышло, что он второй.

С того времени во всем ином начал уступать Гришке. Перепивал теперь Царьков его с первого залпа, а что касается девок – смешно сравнивать. Был Царьков ладно скроен, чернобров и свирепоглаз, вот разве ростом чуть-чуть бог обидел, но этот недостаток с лихвой перекрывался достоинствами. Девки только что не скулили, когда появлялся на вечеринках. На кадрили летали вокруг него на железной руке, как мячики, выбегали на улицу охладиться, под мышками промокнуть, а у Царькова ни капельки на медном лбу.

То ли цыганское что-то, то ли татарское было в его крови.

Ну, а Яшка Пустыльцев... Тянулся, конечно, да где ему? За столом сходил с круга после второго стакана, девок даже языком трепать перестал, на вечеринках больше пиликал на чужих гармошках, чем танцевал, и ладно, пиликал бы как следует, а то «Манька дома – Ваньки нет, Ванька дома – Маньки нет»... Понятно, помахав топором, не разыграешься деревянными пальцами. Ну и не брался бы.

Так, пожалуй, и остался бы, как Царьков, вечным женихом, если бы не Мария Уверкина. Если бы не подошла однажды принародно, не положила белые руки на меха гармошки, не сказала:

– Сил нет, Яша, твою музыку слушать. Пойдем в Лютню.

А через месяц свадьбу сыграли. Правда, говорили, и здесь Яшка опоздал: Царьков в свое время уже имел с ней темное дело. Но это нас не касается, дай бог каждому разобраться в своих долгах и авансах, что натворили по молодости.

Жили они, кажется, неплохо, детей нарожали штук пять или шесть, и Марья оказалась хорошей подругой ему.

Росту Пустыльцев был очень высокого, стеснялся его, а поскольку характер имел деликатный или потому, что туговат стал на ухо, сильно наклонялся к собеседнику, доверчиво глядел в глаза.

Дверь мне открыла Марья. Была она еще молода, крепка, щекаста, с тем свекольным румянцем на скулах, который говорит о физически трудной жизни, но душевном здоровье.

– Там он, – махнула рукой в комнату. – Только говорите громко, туговат он у меня. – И крикнула: – Яков! К тебе!.. – словно задала необходимый уровень звука.

Поразительно чисто и свежо было в доме. Сверкали стекла окон и стекла на портретах сыновей и дочерей, простенькие половички лежали на полу, аккуратно расставлена нехитрая мебель. Видно, жили они бедновато, но согласно.

Яков Пустыльцев в чистой рубашке, с вымытыми волосками на розовом черепе, ухоженный и даже побритый сидел за столом, будто ожидал гостей. Заинтересованно, ласково поглядел на меня и тотчас перевел взгляд на хозяйку.

– Насчет Соловья Андрея они! – прокричала она. – Да надень ты свой аппарат, не мучай человека и сам не мучайся!.. Это ж ему сын слуховой аппарат привез – нет, не хочет, видишь, жених, стесняется!.. – разъярила мне, но Яков только стыдливо опустил глаза.

Когда Пустыльцев уразумел мой вопрос, поглядел обрадованно и не без удивления.

– А вы кто ему? – спросил очень тихо, как часто говорят плохо слышащие люди, опасаясь своего голоса.

– Да, в общем, никто...

– Родня?

– Да нет, я... Как бы это выразиться?.. Писатель... – Мой голос дрогнул: вдруг я ощутил стыд перед ним за профессию, которой так гордился в другом месте.

– Ага, выходит, родня... – кивнул Яков.

Такую я почувствовал радость и облегчение!

– Хороший был человек, у-у, хороший. И сынишка у него был хороший, у-у... Только я мало его знал. Сарайчик одной женщине ставили, ага.

– Ну и... как это было?

– А ничего. Поставили.

– Не помните, кому?

– А Савельевне. Не, Павловне. Не... этой... Или Андросу?.. Хороший был человек, легкий, а потом пропал. Не знаю, куда, а пропал. Больше не появлялся. Маша, может, ты чего знаешь? – спросил, будто хозяйка находилась тут же.

– Нет, – ответила из другой комнаты, куда скрылась, чтоб не мешать разговору. – Ничего...

А Яков вдруг засмеялся.

– Ходули мы, помню, с ним понаделали. Штук триста.

– Откуда триста? – возразила Марья.

– Ну, сто. Весь город ходил. Мальцы. Куда ни глянь – идут. Чап-чап.

И опять засмеялся. Видно, какую-то предыдущую или последующую информацию забыл, а ощущение смешного сохранилось.

– Андроса чуть не разорвало от злости. В милицию хотел пойти.

Ага, вот звено: ходули производились за чужой счет.

– Смеется! – раздался голос из другой комнаты. – А как волокли потом жерди из лесу на спине – не смеялись. Штук сто.

– Откуда – сто?

– Ну, пятьдесят. – Хозяйка говорила за стеной обычным голосом – и Яков все слышал, я кричал – не разбираю половину. Будто слух его был настроен в основном на нее. – И как лесник поймал, не смеялись. Лесник-то – Андросов брат! – Информация для меня.

Вот теперь почти все стало ясно, кроме, конечно, причины смеха. Видно, забыл старик, кто из них победил тогда, тридцать лет назад. Хотя справедливо и то, что победитель не тот, кто скачет, а тот, кто не плачет.

Так я ничего в этом доме об Андрее Соловье не узнал.

На крыльце хозяйка сказала мне:

– Вы бы поговорили с Аней Мырановой. Они, это... не то, чтоб женились, а... В примаках у нее жил.

Вот тебе и раз! Я и не слышал о таком факте. Теперь-то узнаю все, что хочу.

– Только ее дома сейчас нет. Поехала к сыну в Москву, говорила – до мая, только, думаю, скоро прикатит. Невестка у нее злыдня, гонит из дому. И правильно делает! Нечего молодым надоедать. Есть свой дом – сиди дома. Мы с Яшей и то к своим не едем. Дальше от детей – ближе к детям.

– Старого хвали, да с двора вали, – добавил Яков.

Они весело переглянулись. Видно, сыновья, дочери, зятья и невестки у них были хорошие и уважали стариков.

Так что неизвестно, кто из них – Яшка Пустыльцев или Григорий Царьков – остался в дураках.

Андрей Соловей

Итак, все складывалось хорошо. Была работа, появились и деньги.

Вот только с жильем не получалось: половина домов в городе сгорела во время войны, и теперь люди душились по две-три семьи в доме, приспособливали под жилье баньки, кладовки, сарайчики. Хорошо – лето выдалось сухое и жаркое, можно было и на соломке, на чьей-либо погребне переночевать, да вот беда – парнишка Андрея Соловья мало что глухонемой был, еще и мочился под себя, бедняга, и Самсон, мужик, у которого Соловей приткнулся на погребне, недели через две сказал:

– Обижайся не обижайся, Андрей, а корова моя после вас сено есть не станет. Ты бы поднимал мальчика ночью...

Но где там? Намахавшись топором, Соловей спал как убитый.

– Или клеенку подстилал...

– Клеенка есть, да толку... Ногами собьет и... Ладно, – вдруг повеселел. – Есть, Самсон, выход!

И больше у него не появился.

С края города, там, где деревня Лютня, на пригорке над речкой, росла рощица – березнячок сухой и светлый. Удивительное было место. Красота отсюда открывалась неописуемая: петляла речка, поля, леса в дымке... Там, в этой рощице, и появился однажды шалашик, небольшой, но основательный: плетенный молодыми ветками, покрытый еловыми лапками – ни ветер такому шалашу не страшен, ни дождь. Там они и зажили – не тужили. Даже хозяйством начали обзаводиться: кастрюлю купили – чай вскипятить, колхозной картошечки-скороспелки отварить. Жизнь пошла веселее.

– Ты где живешь сейчас? – интересовались друзья-приятели.

– Против лиха на пригорочке.

– Чего на постоянную работу не устраиваешься?

– А зачем?

И верно. Что ж он, где-либо на лесопилке, льнозаводе или кирпичне заработает столько, сколько по людям? Хотя и здесь, по всему видно, не разбогател.

Да и парнишка. Куда девать?

Но главное все же не в этом, а в том, что жил Андрей Соловей так, будто остановился в пути, будто придет срок и двинется со своим парнишкой дальше.

Работал в это время много. Слух о дешевом мастере разошелся быстро, нанимали его охотно. Брал, сколько дадут, а условие ставил одно: чтобы с харчами два раза в день. Впрочем, бывало, соглашался и без харчей.

На пожарище, рядом со столовой, в которой иногда обедал с Тишком, заметил Андрей черного, как турок, парня – не от загара, а от сажи – трудился с утра до вечера, расчищал площадку под новый дом.

– Эй! – окликнул однажды. – Кому стараешься?

Парень разогнулся, облизнул черные губы.

– Костику Бельчакову! – ответил.

– А кто это?

– Я!

Показал белые зубы.

У Андрея после еды было блаженное состояние, хотелось общаться, но парень опять махал лопатой.

– А это что у тебя? – кивнул на сваленные в стороне бревна – недомерки и рогачи. – Лес?

– Что, не хорош?

– На дрова хорош, а на дом...

– Зато – даром! – сказал парень и – опять за дело.

– Навоюешься с таким лесом. Один будешь рубить или с кем?

– Один. Разве – найду мастера, какой денег не берет.

– Ну? – удивился Андрей. – А я ищу хозяина, который дает и не считает.

Посмеялись. Слово за слово – узнал, что хочет Костик срубить избу-временку на четыре стены, на два окна, чтоб перебиться года два-три, а там – видно будет. Был он немногим моложе Андрея, смотрел дружелюбно, охотно говорил и смеялся, а когда показал розовый пяточок около позвоночника на поясице, Андрей почувствовал к нему особое расположение: сам поймал пульку примерно в то же время и тем местом.

С того дня частенько задерживался около него. Подсказал, где достать щепу, где drankу, откуда лучше всего привезти для прокладок между венцами мох – нахватался кое-чего от Царькова. Показал, что пустить на первый венец, что на последний, что оставить на стропила и что на обрешетку. Так что и Костик встречал его с удовольствием.

А когда и площадка была расчищена полностью и материал приготовлен, Андрей пришел поглядеть, как станет Костик размечать избу, как начнет.

– Эх ты, – сказал. – Мастер-пепка. Отойдись.

Отобрал топор и так прошелся вдоль бревна и обратно, что сам себе удивился.

– Пилу!

Сделал надрезы – тремя ударами вырубил «ухо». Костик улыбался, чесал затылок.

Час-два, и первый венец готов.

– Работай! – сказал победно. – Завтра загляну. – Андрей заканчивал сарайчик какой-то одинокой женщине.

Однако к следующему дню дело у Костика не продвинулось.

– Чем занимался? – спросил Андрей. – Тесал бы, если рубить не можешь.

– Да я, видишь, с женой всю ночь провозился...

– Ну? – обрадовался такой откровенности Андрей. – Медовый месяц?

– Да нет... она...

– Ладно, – перебил. – Твое дело. Давай топор.

День выдался свободный, решил помочь. Но сегодня и у него не слишком весело шло дело: уж больно плохонький попался лес, приходилось подсекать, равнять, надтачивать. Кое-как к обеду уложили второй венец.

– Ты, я вижу, тоже не фокусник, – заметил Костик.

– Царьков фокусник, – ответил Андрей. – Только он фокусы за деньги показывает.

– Знаю, ходил к нему. Говорю: денег пока нет, позже рассчитаемся. А он: «Кабанчик есть? Давай кабанчика».

– А ты? – заинтересовался Андрей.

– А я кое-что другое предложил.

Удовлетворенно посмеялись.

– Ну, а что она, твоя женка? – вспомнил Андрей. – Красивая или толстая, что ты с ней никак не...

– Рожала сегодня.

– Рожала?

– Ну.

– Ага. А ты, значит, помогал. Помог?

Костик пожал плечами.

Андрей поднял топор, постучал толстым ногтем по лезвию.

– Перетянул жало, – заметил. – По березе хорошо идет, а в сосне заедает. Вроде твоих шуточек.

– Какие шуточки? Девку родила.

Поглядели как ненормальный на ненормального.

– Девку?.. Тогда чего не гуляешь?

– Успею. – Улыбнулся и показал две тридцатки. – Вечером просажу.

– А ну-ка, прятай топоры! Он успеет... За девку, чтоб хороший характер имела, пить надо вдвое больше, чем за мужика. Пошли!

Вот так случилось, что застрял с ним, Костиком, на три недели. Сперва помогал, чтоб наверстать упущенное, потом... Не получалось у Костика одного.

За три недели вывели сруб, уложили матицы, подняли стропила.

Царьков однажды подошел, поинтересовался: «Курятник работаете?..» Ясно, не Дом Советов. Но в конце концов главное, чтобы не капало и не дуло.

Наконец Андрей сказал:

– Теперь воюй без меня. Работенка подвернулась хорошая.

– Не знаю, когда с тобой рассчитаюсь.

– Не считаешься. Скоро я тю-тю...

– Как же быть?

– Чего волнуешься? Я, знаешь, не доверяю тем, кто свои долги помнит. Легко жить хотят. Отдал – и будь здоров. Если б все с меня деньги требовали... Может, я свои долги тебе передаю.

Бельчаков прожил с женой и дочерью в той избе пять лет.

Да, неважный получился домишко. Прав Царьков, окна плохо закрывались, дверь зимой заклинивало...

Но легко жилось в том доме.

Сейчас Константин Петрович один из самых больших людей в городе. Живет в богатом особняке, подъезжает к калитке авто утром и вечером...

Да-да, все было именно так, память его еще не подводит. Не уверен только, произносил ли Андрей эти самые последние слова. Но ощущение таких слов осталось.

...Итак, все складывалось хорошо. Вот только появилась у него одна слабость: раз в неделю, в субботу, Андрей напивался.

Приходил вечером с тридцаткой к забегаловке Либанова, но надолго ли хватит тридцатки? Через час оборачивался к Тишке, что всегда безотлучно сидел здесь, в углу.

– Дай.

Парнишка у него был вроде кассира. Запускал ручонку под рубаху и, покопавшись, вытаскивал из мешочка на веревочке еще красную. Этой хватало уже на полчаса. Так напивался, что не мог добраться до своего шалашика: взваливался где-либо на скамейку и дрых до утра. А парнишка верно сидел рядом и клевал носом. Впрочем, куда ж ему, малому, деваться?

Пробудившись под утро, плелись в свой шалашик. Отоспавшись к обеду, варили чай на костре, а потом Андрей доставал дудку и принимался играть. Сперва заунывные песни, а потом веселее. Подергивался, подмигивал, приплясывал наконец. И малец начинал смеяться.

Может, он немой был, а не глухой?

Иной раз снимал с шеи Тишка тот мешочек с деньгами, а был он уже увесистый, пересчитывал, говорил:

– Ничего, Тишок. Скоро мы с тобой двинемся... Есть одно хорошее местечко на земле, где нас с тобой ждут. Ну, может, не ждут, а рады будут. Это точно. В этом я не сомневаюсь. Дом там стоит на берегу моря. А море – синее. Птицы летают красивые. А солнышко – круглый год. Хорошо!

И парнишка все понимал.

Между тем начались августовские звездопады и под утро настывал воздух. Пришлось купить два одеяла. Все равно зябко, но кто сказал, что обязательно греть сразу два бока? Полежали – повернулись раз-другой, а там утро. Солнышко не обманывало в том году.

Но скоро случилась беда.

Беда

Отъезд в теплые края Андрей Соловей назначил на время отлета либо ласточек-береговушек, либо диких гусей и уток. Разница во времени их отлета примерно месяц, а это немало важно. Будет холодная осень, – говорил, – отправимся с ласточками, теплая – погодим. Ну и, конечно, срок зависел от заработков. Будут деньги – полетим, не соберем – задержимся. Сумму, необходимую для дальнейшего путешествия, Андрей определил в десять тысяч рублей – не слишком крупную по тем временам и деньгам, но ее должно было хватить на дорогу, одежду и первые месяцы на новом месте.

Все складывалось удачно: осень выдалась сухая и теплая и деньги все плотней наполняли мешочек.

Последняя работа, за которую Андрей взялся перед отъездом, была праздничная, красивая, даже звонкая – крыть жестью крышу. И все было хорошо. Во-первых, работа знакомая – занимался ею пару раз еще до войны, во-вторых, напарник, Никита Левый, душа-человек, в-третьих, хозяин дома, инвалид войны, прыгал вокруг с веселым лицом, в-четвертых... Все было как надо.

Собственно, можно было уже выбирать, и если бы не подвернулась эта работа, которую знал и умел не хуже других, они бы... Но когда еще попадется такая? Добыть жесть в то время было трудно, хозяин дома – полный кавалер Славы, только потому и добыл.

Ну и лишние три-четыре сотни никому еще не оборвали карман.

Гром подняли с Никитой Левым на крыше на весь город. Люди приходили завидовать и любоваться. Жесть была не простая – оцинкованная, то есть вообще сказочная – сверкающая на солнце, вечная, не требующая ни олифы, ни краски.

– Ой, хлопцы, не спешите! – весело волновался хозяин. От грома молотков и колотушек ему казалось, что те стараются, гонят.

– Не трусь, дорогая, прорвемся! – орал Никита и, пугая оскалом желтых зубов, лупил из всей силы колотушкой.

Не понимал хозяин, что гнали не потому, что спешили, а потому, что получалось, работалось, а когда получается, то скорость качеству не во вред, наоборот, на пользу.

– Бутылку ставлю – не торопитесь!

– От бутылки не отвертись.

– Две!

Смеялись все вместе. Нежадный попался человек, приятно было иметь с ним дело.

– Надоело, хлопцы, во время дождя с тазиком по дому бегать, – рассказывал за ужином. – То там потечет, то там польется... Помню, пришел с фронта, из госпиталя, только пристроился было женку погладить – как плеснет сверху... Цурком! Чуть инвалидом и по этой части не сделался! И чтоб подтвердить драматичность ситуации, а заодно похвастать, залепил широкой ладонью по роскошной заднице хозяйки.

– Ну ты, конь! – яростно взмахнула рукой, огрызнулась весело.

Оценили. Баба!

Хорошо было сидеть за столом.

И наконец последний раз ударили молотком.

– Принимай работу, хозяин.

Залез со своим костылем на чердак, прыгал-прыгал – ни одной щелки не нашел.

Принесли несколько ведер воды, вылили на крышу – ни одного потека изнутри.

– Все, – сказал хозяин. – Гуляем!

– Подожди, – сказал Андрей. – Теперь ты с хозяйкой помоги мне. Уезжаю я на днях. Хочу хлопцев угостить на прощанье. Вот от меня деньги – разреши пригласить к тебе.

– Хоть батальон, – ответил хозяин.

Пришли Адам, Максим, Рубидон с женой. Рубидон принес гармошку, Максим бубен. Ну, а талант Адама был всегда при нем.

Гуляли полдня и вечер, а когда водки не хватило, пошли к Изе Либанову, подняли с постели, купили еще несколько бутылок. Либанов лишних денег за водку не брал, но поскольку поднимали частенько, а характер имел слабый – держал дома бутылки две-три, чтобы среди ночи не плестись в ларек.

И еще гуляли полночи.

Переговорили обо всем, что было, и обо всем, что будет. Что деньги скоро поменяются и нет никакого смысла их копить. Что Черчилль оказался сукин сын. Что атомная бомба будет и у нас, а может, и уже есть. Что жизнь ожидается хорошая, надо только продержаться года два-три.

Малец Андрея смиренно и терпеливо дожидался конца праздника, клевал носом. Хозяйка несколько раз предлагала уложить его в постель, но тот отрицательно вертел головой.

– Скажи напоследок, откуда у тебя этот пацан?

– Не знаешь, откуда дети берутся?

– Ну, а куда поедешь?

– О-о... Есть местечко.

– Оставался бы здесь. Чем тебе плохо? Девку найдем с домом. Целку!

– Одну вы уже нашли.

– А я видел Юзефу на днях. Кается! Из-за тебя, пьянтоса, говорит, хорошего человека обидела. Может, заглянем?

– Нет, хлопцы. Есть у меня в теплых краях одна... птичка.

– Может, мамка его? – кивнул Рубидон на Тишка.

– Может, и мамка.
Посмеивался.

– Нет, не пойму я тебя, – сказал Рубидон. – Думаешь, там сало с салом едят?.. Максим, расскажи ему, как на юг ездил!

Однако Максим только поскуучнел он такого напоминания и не захотел рассказать.
Дело в том, что он действительно ездил на «юг».

Вернувшись после войны домой, Максим, Рубидон и Адам очень быстро нашли друг друга. Адам работал водовозом при горсовете – возил в старой бочке, на старой лошадке воду из Кагального колодца для разных контор; Рубидон устроился сторожем, а Максим сапожничал на дому – и все считали, что обделены городским начальством, судьбой, а так же настоящей женской лаской.

Городское начальство, не глядя на их явные солдатские заслуги, не нашло приличной работы, женщины... Какая ласка?! Поедом едят за каждый червонец, брошенный на дружеский стол, словно смысл жизни в деньгах, в сытом брюхе, а не в товариществе, не в мужском солдатском союзе. По их, женщин, мнению, раз война кончилась, то и говорить о ней нечего, а надо брать топоры, лопаты и пахать, пахать... Словно можно забыть первый бой и последний, первое ранение и последнее, все, что было между ними, всех фронтовых друзей!.. Да и вообще покажите того мужчину, который в субботу скажет, а в воскресенье подтвердит, что – вот она, моя женщина, самая лучшая, самая красивая и ласковая, другой не надо... Не покажете.

Однажды, разругавшись вдрызг со своими сужеными, они решили, что достойны лучшей участи, лучшей земли и неба и, конечно же, лучших жен. Было это вскоре после войны.

Тайная вечеря происходила у Либанова, который опять налил по граненому стаканчику в долг. Хватит, решили единодушно. Помучались, натерпелись. Чаша переполнилась. Пусть попробуют жить без них. Отправятся сегодня же, сейчас же – куда-нибудь на Украину, там хлеб белый, девки, как булки, мягкие, или вообще – на юг, к морю. «Я и досвиданькаться не пойду!» – заявил Максим. «Мне бы только орден забрать», – сказал Адам. «Устроюсь, сразу вышлю ей тысячу рублей, а обратный адрес не дам!» – мечтал Рубидон.

Ничего, что на дворе вечер. Ничего, что до Ходос – ближайшей железнодорожной станции – двадцать километров. Им, фронтовикам, не привыкать. К утру доберутся до станции и – ту-ту!.. «Дай, Изя, еще сто грамм!..» – «Ой, хлопцы, – ответил Либанов. – Что вы придумали? Кто вам утром похмелиться даст?» – «Ты, Изя! – ответили. – Мы тебя берем с собой! Ты – наш человек». – «О-о! – запел от неожиданности Либанов. – У-у!.. Так хочется поглядеть мир. Я никогда не был на Украине... Только вы не знаете мою Цилю. Она пойдет за мной на край света! Найдет и прибьет...»

«Ну... встали!» – скомандовал Максим как старший по званию. И в эту минут Адам грохнулся под стол. «Черт с ним, – решили. – Изя, оттарабань его домой».

Когда покидали город, стемнело. Максим шагал быстро, решительно рубил единственной рукой воздух, Рубидон едва поспевал за ним. А когда скрылся за пригорком последний городской огонек, Рубидон вдруг сел на траву и заплакал: «Не видать мне золотой Украины... Болит!» – ударил кулаком по протезу. И дальше Максим зашагал один, делая строевую отмашку рукой.

А утром – Максим как раз садился на товарняк – настигла его супруга, верная Сомовариха. «Миленький ты мой, дороженький! – запричитала, увидев Максима в тамбуре. – А что ж ты такое надумал?.. А на кого ж ты кидаешь меня? – заголосила, как по покойнику. – А любимый ты мой, хороший! Чем же я тебе не угодила, не уладила?...» Тут поезд тронулся. «Слезай, дурень! – завопила она. – Слезай, пока не поздно, чертово семя, собачья кость, волчий глаз, бычий потрох...» Машинист, говорят, чуть не наехал на семафор.

Вернулся Максим через два месяца – прихрамывая, с дергающимся веком левого глаза, с носом на правый бок. «Да, хлопцы, – сказал. – Все правильно. И хлеб у них белый, и девки, как булки. А лучшего места, – тут Максим оглянулся и всхлипнул, – нет на Земле!»

Так и не рассказал никому, что там с ним произошло в южных краях. Вот и сейчас значительно поглядел на Андрея.

– Пусть съездит, – сказал. – Узнает что и почему...

За полночь связный разговор расклеился. Кричали каждый свое, умывались пьяными слезами. Хорошо Рубидону – женка поволокла домой, костыля по спине во время передышек, а Максим и Адам тут же приземлились. Инвалиды...

Хотел хозяин уложить у себя и Андрея с Тишком, но Андрей отказался.

– Нет... – твердил. – Нет. Мы с Тишком... Два одеяла есть... Все как надо. Идем, Тишок!

Добирались к своему шалашику чуть не до утра. Андрей спотыкался, падал, а Тишок его поднимал. То есть теребил, чтоб не заснул на дороге. Поднимался и опять падал, мальчика валил с собой, и – не плакал парнишка, хоть, понятно, и больно ему было и страшно. А может, и плакал, кто знает?

Но кое-как дотащились до шалашика.

Проснулись поздно, солнце давно светило и грело.

Спустились к реке, умылись.

– Ой, тяжело, – сказал Андрей. – Сейчас пойдем, Тишок, в город, поедем. Пить не буду, полечусь только. Давай тридцатку.

И тогда-то раздался ужасный – немой – крик. Царапал ручонками по груди. Кинулся и Андрей обшаривать тельце, пять раз перевернул, а потом начал бить его – молотил кулаками, как взрослого, пока не упал малыш. Видно, растерялся человек, или отчаялся, или не протрезвел как следует к той минуте.

Потом сел на бережок, сам заплакал. Поднял мальчика на руки, понес в гору.

Видели люди, как ходили они взад-вперед по той дороге, по которой тащились ночью, заходили к хозяину, у которого гуляли.

Вечером вернулись к шалашику.

Выкопали на колхозном поле десяток картофелин.

Вскипятили котелок водички.

Из котомки достали два больших куса сахара. Малец сахаром наслаждался, как в первый раз: лизал, посасывал, ласкал синим взглядом.

Позже Андрей достал свою дудку и заиграл.

Доверчиво, преданно глядел на него малец.

Стоял сентябрь. Листочки на берегах золотились. Ласточки-береговушки летели на юг.

Ну вот, мой рассказ подошел к середине... До сих пор писать было легко и приятно. Хорошо бы закончить на этом месте. Давно ясно, что жизнь у Андрея Соловья не так уж проста, зачем следить за его новыми испытаниями?

А может, пронесет? Подумаешь – потеряли деньги. Не в деньгах счастье. И не все ли равно, где жить, на севере или на юге? Среди холмов или на берегу моря? Да и существует ли он, тот дом на берегу моря?

В конце концов можно отложить поездку. Нельзя? Почему нельзя? Можно...

Новое жилище

Итак, поездка на юг временно откладывалась.

Конечно, если бы повезло найти хорошую работенку, да хозяин с хозяйкой попались богатые и щедрые, да погода выстояла...

А еще хорошо бы найти чужой кошелек. Иногда представлял себе такую картину – лежит на дороге толстенький, на тугой кнопочке, – посмеивался.

Но пока не только чужого кошелька – работы не находилось. Нового строительства или серьезного ремонта никто не затевал на зиму глядя, а кто затеял, имел уже и подмастерьев и мастеров.

Сумма в десять тысяч казалась теперь фантастической, теперь он уехал бы и с пятью, но тех денег, которые умудрялся выколотить, нанимаясь пилить и колоть дрова женщинам, хватало только на пропитание. А тут еще задождило. Пришлось купить кое-что из одежды, покинуть гостеприимный шалашик и устроиться на квартиру, что тоже требовало денег. Голод – не тетка, сыра-земля мачеха, а не мать.

Можно бы устроиться на работу, например, на кирпичный завод, но в этом случае поездку пришлось бы отложить, считай, на год...

Водки теперь Соловей в рот не брал, разве какая-либо хозяйка подносила стаканчик, на дудке не дудел, перестал и людей забавлять, зато колуном и клином колотил без роздыху, как говорится, аж дым шел – все еще надеялся уехать до наступления холодов.

Впрочем, скоро пришла в голову простая мысль, что уехать можно и зимой... Какая разница?

А однажды вечером шел по городу и увидел чудо – пахучий дымок из-под земли. И тут же на свет божий вышел человек.

– Здорово! – сказал Андрей. – Ты что, живешь в этой норе?

– Живу, – неохотно ответил мужчина.

– Ну и ну. Не страшно?

– Я креститься умею.

Андрей с готовностью засмеялся.

– Сам выкопал или...

– Теща.

Еще веселее захохотал, хотя тот не собирался смешить.

– Ну и как оно... на том свете?

– Чего хочешь? – надоело мужику.

Был он ровня Андрею и по росту и по возрасту, но смотрел сердито – сорокалетним мужиком.

– Можно глянуть?

Пожал плечами.

– Чего глядеть? Никогда не видел?

– Да видел... Один живешь или...

– А ты кто такой?

– Человек.

– Человек... Иди, погляди...

Вход в землянку был пологий и просторный. А когда открылась дверь, вообще удивился Андрей. Стоял стол посредине с яркой керосиновой лампой, в углу жарко и сухо полыхала грубка с лежаночкой, на широком топчане сидела женщина с девочкой и шитьем в руках, стены и полы были закрыты шалевкой, даже вышивка висела на одной из стен.

– Ого! – сказал Андрей. – Я думал – нора, а тут... станция метро! Танцы устраивать можно.

Удивление Андрея было искренним, и мужчина подобрел.

– Прошлый год перезимовал не хуже других, – сказал. – Хотел летом рубить дом, а потом решил подождать еще год. Заработаю – поставлю пятистенку.

Он вроде бы оправдывался: немногие все же жили в землянках. Но Андрея интересовала как раз землянка, а не его будущий дом.

- Не сыро?
- Не-е. Место высокое. Даже весной воды не было.
- Может, и мне, что ли, закопаться?
- Тоже жить негде?
- Ну.
- Поздно спохватился. С неба льет. Разве где на пожарище погреб приспособить?.. – И вдруг улыбнулся: – Знаю один. Ставь бутылку, покажу...

Погребок в самом деле оказался славный: небольшой, с выложенными кирпичом стенами, цементированным потолком и ровным земляным полом.

– Сам хотел здесь остановиться, – сказал новый знакомый, – да тесновато. Баба много места занимает.

Расспросили соседей, узнали, что от хозяев сгоревшего дома ни слуху ни духу. Если и живы, вряд ли вернуться на зиму глядя, а заявятся – всегда пожалуйте. Андрей вовсе не собирался зимовать здесь.

Первым делом раздобыл железную бочку, смастерил из нее печь. Раздобыл досок-горбылей – настелил полы. Из горбылей же сбил широкий топчан. Древесной стружкой набил матрас и подушки – на сене или соломке спать мягче, да заедят вши. Купил еще пару одеял – завесил топчан со стороны стены.

Адам подарил на новоселье стул, Максим – стол, а Рубидон – подвесную лампу-десяти-линейку с фигурным резервуаром для керосина из толстого стекла, такую красавицу – хоть в горсовете ставь. Рубидониha принесла парочку горшков и алюминиевых мисок.

Когда все было готово для житья – даже кривого зайца вырезал из доски, – привел Тишка. Малец вошел, оглянулся, довольно равнодушно кивнул. Зато когда увидел того зайца... Малый есть малый. А когда задымился на столе горшок с супом, тут и говорить нечего. Понравилось.

Приходила в голову праздная мысль, что при необходимости могут в самом деле перезимовать здесь. Но это так, на всякий случай, как доброе слово жилищу. Зимовать они не собирались. Да и птицы не все улетели, например, дрозд-рябинник еще клевал богатый урожай.

Как мало их – серых, каурых, гнедых – осталось после войны. Женщины в упряжке плуга – много раз описанная картина тех лет.

Но – остались. Живо вытаскивали с горки на горку перегруженные возы с сеном, с лесом, бодро таскали плуги по слежавшейся за четыре года земле, подремывая, терпеливо ждали хозяев на базарах, у магазинов, больниц – живость и бодрость обеспечивал кнут, сладкую дрему – бескормица. Ласково глядела на них городская безотцовщина в мечтах о леске для ловли рыбы. Рывок – и полхвоста нет. Лови его, сукина сына, держи!..

Кое-где встречались рослые, слоноподобные прусские тяжеловозы. Этим не доверяли, опасались. Их спокойствие казалось притворным, сила – враждебной. Да и хвосты на огромных задницах – вроде кисточек для побелки стен! Также и в хозяйстве они принесли мало пользы и много хлопот: плохо слушались незнакомой речи, им не подходила обычная по размеру упряжь, приученные к дышлу, они не хотели стоять в оглоблях, а главное – не умели ходить с плугом или бороной. То были лошади выкормленные не для мирного труда. Кажется, потомства эти неуклюжие гиганты на нашей земле не оставили: то ли выхолостили их в свое время прежние хозяева, то ли наши люди не допустили к своим жеребцам и кобылам.

Иной живности арийского происхождения что-то не помнится. Разве одичавшие овчарки в оврагах и перелесках?

Тоже и иные трофеи. Техника быстро вышла из строя, вещи и одежда выносились и забылись. Даже словечки и выражения не выдержали испытания временем и помнится разве что «шнапс», «шпик» да «Гитлер – капут»...

... В тот голодный год в городе на площади близ Соборной церкви, приспособленной под Дом культуры, была устроена первая после войны сельскохозяйственная выставка. Отвыкшие от зрелищ люди ринулись на площадь от мала до велика. Пожирали глазами яростную плоть неизвестно откуда взявшихся жеребцов, кобыл, тупых племенных быков и равнодушных к суете коров, пресыщенных свиноматок и алчных хряков, вдыхали целомудренный аромат библейских хлебов, развратные запахи колбас, копченых окороков, дивились на райские яблоки, груши, на капусту, редьку, бураки, картошку, на... Чего только не было на том празднике первого мирного года и труда!

Понимали: не «средняя» продукция колхозов и совхозов привезена и выставлена на обозрение. Жеребцов и кобыл холили, быков не подпускали к коровам, свиноматок отмывали теплой водой. Но ведь и не одна только мечта о сытости влекла нас сюда, тешила глаза и ноздри. Иные, более высокие чувства испытывали мы, блуждая у коновязей и стеллажей, – вот, оказывается, какие чудеса способна показывать наша тихая сторона. Впрочем, мы и не сомневались, что может. И не имело никакого значения, что и лошадей, и коров, и свиней прислали – по две-три пары на развод – иные области страны, менее пострадавшие от войны.

Подобные чувства можно было прочесть и на лицах старших: вот какая благодать и радость – мир. То было венчание надежд с действительностью – так понимали мы этот великий день.

Насытив, однако, глаза и ноздри, все мы вспомнили о желудке... Но строго стояли у стеллажей вестники грядущего изобилия.

Были на том празднике, конечно, и Андрей с Тишком. Малец ходил очарованный, а Соловей... О чем думал он? Не усомнился ль в том, что надо ехать? Не на скудный клочок земли попали они в конце концов...

...Когда проходили мимо овощей и фруктов, незнакомое беспокойство проявилось в лице Андрея. Оглядывался, волновался. Прошли один раз, зашли другой. И вдруг схватил Тишка за руку, потащил.

Когда отошли на приличное расстояние от площади, Андрей распахнул полу ватника и сказал:

– Ап!

В руке у него была огромная, налитая соком, мясистая груша. Счастливо рассмеялся, увидев, как распахнулись синие глаза Тишка.

– Цап – и под полу! – объяснил.

Такого лакомства Тишок еще не пробовал: за время войны в городе вырубали сады на дрова.

Федя, нормальный человек

Нормальный человек не станет на зиму глядя начинать строительство. Ну а ненормальному, известно, закон не писан.

Федя, дурачок, пастух, получив осенью окончательный расчет за пастьбу коров, купил по дешевке дом в одной из деревень, чтобы перевезти в город.

С тем и явился к Андрею Соловью: помоги.

– Федя, – ответил Андрей, – чтоб тебя мухи заели. Тебе ж платить нечем.

Моргал загнутыми, как у девочки-отроковицы, ресницами, просветленно улыбнулся Андрею.

– Нечем, – подтвердил.

– Что ж ты идешь ко мне?

Однако Федя считал, что обрадовал Соловья своим предложением.

– Скажи мне, ты хитрый или дурной?

- Дурной, – согласился. – Хитрый.
 - Ох, Федя. Деньги за дом уже отдал?
 - Отдал!
 - Чтоб тебя медведь задрал, Федя. Перевезти помогу, а собирать не буду.
- Вот так втравился в безденежную работу второй раз.

Оказалось, что поставить дом Федя надумал рядом с домом, где снимала угол молоденькая приезжая учительница: влюбился, интеллигент, каждый вечер на протяжении лета клал на крылечко букет полевых цветов.

Впрочем, Федя постоянно бывал в кого-то влюблен – в мужчину, женщину – все равно, в этом, собственно, и выражалась его ненормальность. Вскрывал «любимым» огороды, пилил дрова или просто ходил следом. Скорее всего агрессивные центры мозга были у него вытеснены областями приязни, доверия.

Но учительница об этом не знала. Когда он принес цветы в первый раз – обрадовалась, во второй – испугалась, потом начала запира́ть калитку. А когда узнала, что ставит дом рядом, насмешила весь город: в горсовет ходила протестовать, в райком. Но ни в горсовете, ни в райкоме ее не поняли...

В кого зря Федя не влюблялся, чаще всего выбирал молодых и красивых мужчин и женщин. Возможно, считал, что красота тождественна доброте.

Не все было ясно и в отношении жителей города к Феде. Многие любили иногда поговорить с ним. Старушки – те считали, что он ближе к богу – на всех похоронах носил крест от дома до кладбища, пел на клиросе высоким голосом... Но Пустыльцева, например, нельзя было назвать религиозным человеком, а и он с недельку помогал Феде, даже сквалыга Царьков приходил пару раз.

Поработав с Федей день-другой, Андрей тоже почувствовал интерес к странным, без начала и конца, беседам, что вели вдвоем.

– Ночью опять матушку видел на грядках, – говорил, например, Федя. – Пошел в огород – нет ее. Не понимаю.

– Приснилась она тебе, – объяснял. – Сон это был.

– Тебя тоже видел. А ты меня?

– Я крепко сплю.

– Не понимаю. Я всех вижу, а меня никто не видит. Почему? Может, я два раза живу, а все один раз?

– Я же тебе объясняю: приснилось.

Несогласно качал головой.

– Нет... Я знаю... Раньше я был один, а теперь меня... два.

Андрей пожимал плечами: как втолкуешь?

– Мальчик у тебя хороший. Красивый.

– Он, Федя, несчастный.

– Нет. Бедный.

Однажды, в веселую минуту, Андрей спросил:

– Ты бы хотел куда-либо поехать?

– Куда?

– На юг, к морю. Солнце там круглый год греет, цветы, птицы красивые...

Федя задумался.

– Когда война началась, какой год был?

– Сорок первый.

– А перед ним?

– Сороковой.

– Туда хочу, – сказал. – Я там бываю, но мало. Насовсем хочу. Матушка там была, хорошо было. – Но говорил без печали. – Сколько человек живет? Долго?

– Как посмотреть... Тебе сколько? Лет двадцать пять?

– Не знаю.

– Ну... еще два раза по столько.

– Много, – вздохнул. – Матушка ждет. Один раз поживу, потом помирать буду. – И вдруг улыбнулся: – В лесу.

– Почему в лесу?

– Так надо... Не хочу на людях, – пояснил неохотно. Вроде нормальный был человек.

Но иной раз...

– На юге хорошо?

– О, как в раю! Апельсины, лимоны на каждом дереве. А люди ходят голые и песни поют.

Опять задумался.

– А майские жуки есть?

– Жуки? Зачем тебе?

– О-о, красивые. Жж-ж-ж!..

– Найдем жуков. Кидай свою учительку, и поедем. Ты ее еще не пощупал?

Покраснел, потупился.

– Нет, она хорошая. Пахнет! – шевельнул тонкими ноздрями. – А идет – дзинь, дзинь...

То есть говорил с ним Андрей серьезно – был Федя нормальным, придурился – терял ум.

Верх безумия Феде пришлось пережить на время оккупации. Подходил к немцам, полицейским, задавал один и тот же бессмысленный вопрос: «Цугун пан табак никс нима?»

Немцы хохотали, полицейские обижались, били.

В конце концов его бы, конечно, уничтожили как неполноценного, если бы не некая сердобольная женщина: увела в деревню и там он отсиделся до освобождения городка.

Силы у Феде было маловато, природа, пожалуй, хотела произвести девушку на свет, да не хватило на тот случай искусства.

Быстро уставал, задыхаясь, садился на бревнышко, виновато поглядывал на Андрея.

Однажды во время перерыва Андрей сыграл ему на дудке несколько песен. Федя зачарованно глядел на него.

– А у меня тоже есть талант, – сказал. И вдруг тихонько запел:

Ой, сынку у матки ночку ночевал,
Ой, сынку матке сон свой рассказал:
«Ой, мать моя, мать, матушка родна,
Увиделось мне дренно во сне:
С-под правой пашки сокол вылетел,
С-под левой пашки соколенок...»

Голос у него был высокий, чистый. Улыбался, мелко дрожали губы от волнения, с надеждой глядел на Андрея.

– Хорошо?

– Хорошо! Еще спой.

Спел еще куплет, опять замолчал.

– Тебе в артисты надо, Федя!

– Нет... – покачал головой. – Нельзя за деньги петь, грех, голос портится... Научи меня на дудке играть.

– Зачем тебе?

Но взглянул на порозовевшие уши Феди, все понял: юность учительницы все еще не давала покоя.

Однако показалось Андрею, что с некоторого времени охота работать у Феди начала затухать...

А когда собрали венцы, подняли стропила и можно было начинать решетить, и вовсе не пришел к дому. Андрей поковырялся час-другой в одиночку и тоже бросил. Себе, что ли? Уж больно умный этот дурной.

Заглянул на следующий день – нет Феди. Забеспокоился: не заболел ли? На третий увидел: стоит в стороне, празднично смотрит.

– Федя, ты что?

Равнодушно отвернулся.

– Или учителька в примаки берет?

– Кто? – встрепенулся. – Учител... ка?

Наступил, наверно, период потемнения в его душе.

– Цугун пан табакс никс нима, – сказал и посмотрел в небо.

Андрей с Пустыльцевым и Царьковым нашли покупателя и кое-как, в рассрочку, продали недостроенный дом.

Через короткое время Федя опять ходил радостный и свободный: избавился от гнета собственности – денег и дома.

Теперь он все свободное время, а его у Феди было достаточно, проводил на кладбище, у могилки матери. Ухаживал и за другими – заброшенными – холмиками земли.

– Что Федя? – интересовались люди. – Родня твоя?

Отвечал неохотно, не сразу.

– Откуда я знаю? Может, родня...

Жить ему оставалось немного. Он это чувствовал и готовился переселиться как Человек.

А Соловью Андрею наконец снова повезло: позвал в помощники Степан Субботин, городской печник.

Степан Субботин, печник

...Вам бы поговорить с дружками его, да опоздали... Что там, кажется, рука или нога, а смотришь – одному медные трубы играют, другому... После войны, помню, куда ни кинь – везде костыль, а теперь где они? У «Гитлера»...

«Гитлер» подразумевался иной, точнее – Гилтер, смотритель городского кладбища.

– Только мы с Рубидоном застряли на этом свете. Хотя Рубидон, конечно, и меня переживет, и Гитлера...

Он поморщился, переложил протез поудобнее.

– Погода переменится, это я за три дня чувствую. Если б меня в бюро прогнозов взяли – даром хлеб не ел бы. Да что там три дня! Весной знаю, каким лето окажется. Говорю раз одному председателю: лето сырое будет, делай выводы. Не поверил. Теперь каждый год спрашивает: «Петрович, сгноишь или помилуешь?» – засмеялся и тотчас снова поморщился. – Зараза! Не любит, когда я в хорошем настроении. Как засмеюсь, так дернет, аж в мозгах темнеет. Дергай, дергай, не много тебе осталось... Ох, одно время дала жизни. Только закажу протез – она усохнет. Опять закажу – опять усохнет. Считай, на нее и работал. Теперь ничего – дальше сохнуть некуда...

До войны я работал один, а на одной ноге трудно стало глину месить, с кирпичами прыгать. Вот и позвал его, Андрюху. Вижу, мужику достается, а не сдается, я таких уважаю, сам такой, сработаемся. И еще. Я с двадцатого года рождения, моих приятелей, считай, всех повыбили... Может, товарищами будем, думаю. Характер у него был легкий, услужливый. Как заме-

тит, что меня мутит-крутит: «Сиди, Степа, не рыпайся». Я к себе не очень жалостливый, а все ж и для меня доброе слово – довесок к булке. Вы с какого года? Ну вот, должны понимать, о чем я.

Слабоват я стал после ранения. А тут еще мозоль на культе не растет. У меня тогда два протеза было: один казенный, со скрипом, я его «такси» звал, и деревянный, с грузом-стуком, «тачанка». Если мужику или старой бабе печку кладу – на деревянной, если молодой – надеваю казенку. Неженатый был, стыдился на деревянной скакать. Сердце заходится, нога как на угольях горит, а я... Дурень был. Так вот эту долбленку – до сих пор где-то в сарае валяется, если дети не снесли, мне Андрей подарил. Посмотрел на меня день, другой и принес. «Снимай свою амуницию», – говорит. Сначала я ни в какую. А надел, как в рай въехал.

Глаз у него памятный был. Пару-тройку печей сложили – соображать начал. Не раз говорил ему: кинь ты с этим югом. Нет лучше климата, чем у нас. «Не в климате дело», – отвечает. «Что плохо тебе было летом?.. А ведь только год после войны прошел. Я тебя печному делу обучу – будешь жить, как король». – «Нет, – отвечает. – Мальцу обещал». – «Твоему мальцу здесь в сто раз лучше. Школу для глухих открыли. Грамотным будет!»

Молчит. А малец его в то время воровать начал. А может, и раньше таскал. Говорил Андрей, не водилось за ним такого, пока деньги не потерял. Водилось, наверно... Последнее время он и брать его с собой перестал: гляди не гляди, все равно что-нибудь сопрет. Ох и лупил его Андрей за это!.. Отлупит, а потом сидит в своей землянке впотьмах и на дудке ему играет...

После Нового года мы с ним редко встречались. Зимой у нас, печников, работы мало. Так и разошлись... После Нового года он до того дошел, что ходил лед с колодцев обивать. Знаете, сколько нарастало? Бабы к колодцу на коленках, от колодца на заднице. Они ему за такую работу по рублю-два собирали...

На кладбище у того же Гитлера подрабатывал – могилки копал. Но город маленький, два-три человека за неделю помрет... Не проживешь. Занимал у всех, кто мог дать...

К Федоровне зайдите, может, чего расскажет. Это у нее перекладывали голландку, когда малец часы спер.

Базар

Трудно сравнить с чем-либо сегодняшним послевоенные базары в том малом городе.

С рассветом, а то и затемно, чтобы занять побойчее местечко, шли к городу обозы из всех прилегающих деревень. Поскрипывали телеги и сани, взмыкивали и всхрапывали животные, покрикивали возницы, сосредоточенно вышагивали пешие. Сегодня такое движение в ночи представилось бы переселением народа, чем-то апокалипсическим. В дни больших – красных – торгов ехали и шли за пять, десять, двадцать, тридцать километров и у города сливались в несколько широких, молчаливых потоков. Занимали места, распрягали лошадей.

А город еще спал. В столь раннее время приезжали не только удобного места ради, но и чтоб разузнать, выработать уровень цен. «Сколько будешь просить?» – «Пять...» – «Хлеб подорожал». – «Тогда семь». – «А сено подешевело...» – «Может, шесть?..»

Но окончательная цена зависела от упорства продавца, напористости покупателя, от количества одинакового товара, настроения, охоты выпить и закусить, чувства юмора, задолженности по налогам, длины обратной дороги, погоды, долготы дня, здоровья и еще десятка неуловимых причин. Впрочем, ниже допустимого уровня цена не опускалась, или же слабый духом подвергался остракизму сотоварищей, выражавшемуся обыкновенно посредством резервов русского языка.

У каждого товара, естественно, свое определенное место, и поросячий угол несколько не походил на куриный базар, а горшечная площадка на пяточок мелочевки, не говоря уже о сенном, дровяном или молочном рядах.

Больше всего игры, суеты и веселья было, конечно, на мелочевке, страстей и драм – в том углу, где продавали телок и коров. Дети – городские и деревенские – шныряли везде, но этот последний не любили, все здесь происходило слишком серьезно, и радость одних часто отражалась в слезах других.

За удачной куплей-продажей устраивалась легкая выпивка, часто с импровизированным концертом, изредка возникали потасовки, и слухи о них с кровавыми преувеличениями носились, пугая и веселя, по шумным и беспокойным торговым рядам.

Ходили с гармошками инвалиды, собирая на водку, пели пронзительные песни, и женщины рыдали, глядя на обожженные лица, слепые глаза.

Люди приходили на базар не только продавать и покупать, но и вроде бы без причины – приценивались, приглядывались, вслушивались, а на самом деле поверяли будущее сегодняшним днем. И часто во время такого похода на базар решались вещи, не имеющие прямого отношения к цене на хлеб и сено: шить сапоги или обойтись солдатскими ботинками, строить дом или повременить.

Ну а для детей и подростков базар был тем волшебным колодезем, из которого черпались и пополнялись запасы впечатлений того скудного времени...

Речь не о ностальгии, отнюдь. Бог с ним, с базаром, хорошо, что его нет. Сейчас на одном краю бывшей базарной площади стоит универмаг, на другом – гастроним. Слава им обоим и хвала.

Тишок

Каждого воскресенья Тишок дожидался, как праздника. Ни счету, ни чтению Андрей его не учил, и каким образом он высчитывал этот замечательный день недели, было загадкой.

Уже в субботу вечером показывал один палец, прикладывая к щеке ладошку, махал рукой в сторону базарной площади. То есть: «Одну ночь переспим и пойдем?»

Однако, скорее, напоминал, чем спрашивал, чувствовал за собой право на такое развлечение, а также был уверен, что на базаре одинаково интересно всем.

– Пойдем, – соглашался Андрей.

Чтоб сократить время ожидания, раньше обычного укладывался спать, а проснувшись, быстро умывался ледяной водой, фыркал, обращая внимание на свою старательность, хотя обыкновенно, как все дети, не слишком любил эту процедуру, норовил мазнуть по лбу одним пальцем либо вообще собственной слюной.

Голяком вылетал из землянки к поленнице, тащил три-четыре плашки, с нетерпением глядел на разгоравшийся огонек в печке-бочке, на котелок с водой и десяток картофелин, что было их ежедневным завтраком, хватался даже за веник. Оглядывался: что бы сделать еще? Что может задержать выход?

Землянка оказалась замечательной. Не слишком выстуживалась к утру и быстро нагревалась. Правда, была сыровата: на цементном потолке собиралась влага и приходилось два-три раза в день вытирать потолок тряпкой, чтоб не капало на макушку; стены, обложенные кирпичом, тоже источали алмазные капли, но не век же вековать в землянке? А перебиться пару-тройку месяцев очень даже удобно. Жаль только, мочился Тишок ночью по-прежнему под себя. Андрей уже и просыпаться научился, поднимал парнишку, но все равно тот чуть не каждое утро вставал мокрый и застывший. Отводил глаза, неохотно вылезал из постели. Если удавалось встать сухим, радостно теребил Андрея, требуя, чтоб потрогал штанишки, ласкался.

Поняв, что уехать до Нового года не удастся, Андрей решил несколько благоустроить землянку. Во-первых, в узком проходе-коридорчике, что вел вверх, сохранились осадки и петли второй двери. Андрей раздобыл две доски, сбил, подогнал – ветер перестал задувать снег в щели. Во-вторых, обмуровал кирпичом, взятым здесь же, с фундамента бывшего дома, желез-

ную печку-бочку – она стала хранить тепло. В общем, с каждым днем жилище все лучше служило им.

Наскоро перекусив картошкой, хлебнув кипятка и засунув кусок сахара за щеку, Тишок надевал маленький ватник – Андрей заказал в местной пошивочной артели инвалидов, – нырял под армейскую шапку-ушанку и становился в ожидании у двери. Перед выходом Андрей протягивал ему три рубля – Тишок разглядывал бумажку, как волшебный билет, таящий исполнение желаний. Деньги Андрей давал ему с одного примечательного дня...

Их путешествие по базару начиналось всегда с толкучки, с того места, где постоянно сидел маленький бородатый старичок и с удивительной ловкостью вышивал «крестом» – продавал крючки и пяльцы, а Тишку, наверно, казался фокусником. А может, он представлялся привратником базарного мира, старым гномом, к которому следовало подойти и восхититься, если рассчитываешь получить полную меру удовольствий и чудес.

Еще шаг – и они погружались в огромную, волнующуюся, плещущую толпу, точнее – она налетала на них, бестолковая, орущая, пляшущая на декабрьском морозе толкучка.

Пожалуй, Тишку было интереснее, чем взрослым: все самое замечательное находилось ближе к его глазам – петухи с подвязанными крыльями в кошелках, поросята в мешках, ноздри коров, хвосты лошадей, связки лаптей, бахил, чертиков на веревочках, картофельные пирожки в горшках под ватниками...

Имелся на базаре и детский уголок, там торговали одеждой и обувью, но игрушки продавались редко – разве что глиняные свистульки в виде уток, собачек, мячики из коровьей шерсти, бычьи пузыри-погремушки.

Но в тот памятный день появилось нечто невиданное – обезьянки на палочке, кувыркавшие через голову на сученой нитке. Вокруг продавца, цыгана с сиплым голосом и яростными глазами, наслаждаясь и тоскуя, стояла ребятня. Как привязанный остановился и Тишок.

Андрей разговорился здесь с одним из приятелей, а когда хватился парнишку, увидел, что тот сам проталкивается к нему с испуганным и загадочным лицом.

Обычно путешествие по базару они заканчивали возле кузницы, где два молодца плющили раскаленное железо, на ходу изготавливая и продавая лемеха, клещи, шкворни, подковывали лошадей, но тут Тишок настойчиво потянул Андрея в сторону дома. Вел себя беспокойно: оглядывался, прижимался к ноге Андрея. Только когда базар скрылся за поворотом, начал успокаиваться.

– Что? Что случилось?

Парнишка загадочно, заискивающе улыбался, опускал голову.

А когда вошли в землянку и зажгли лампу, Тишок вдруг сунул руку под полу ватника и вытащил обезьянку.

«Цап – и в рукав!» – объяснил. Счастливо рассмеялся.

Увидев выражение лица Андрея, пошел задом к топчану.

«Нет! – говорило его лицо. – Не отдам!»

Андрей не знал, что нужно сделать. То ли заставить отнести игрушку или деньги продавцу, то ли выбросить обезьянку, то ли наказать парня.

Разжег печку, сел у дверцы, достал дудку.

Через полчаса Тишок осторожно подошел, положил перед ним обезьянку: «На».

Андрей погладил его по голове и ничего не сказал.

С того времени перед выходом на базар давал трешку.

Однако будущее показало, что следовало все же выдрать мальчика или хотя бы забросить игрушку в сугроб.

Когда Тишок стащил карманные часы в доме, где перекладывали голландку, Андрей жестоко выпорол его. Но это не помогло...

Игнатий Андреевич Неведомский, учитель

...Моя семья во время войны жила в Челябинске, и после победы я поехал к ней. Ужасно мне почему-то не понравился город, но делать нечего – из писем знали, что здесь наш дом сгорел, а там мои и на работу устроились, и жилье кое-какое имели... Нет, люди там хорошие, славные, но вот улицы, дома – иду и глаза закрываю, так мне тошно вокруг себя глядеть. Правда, месяца через три-четыре начал привыкать. В конце концов – крупный промышленный центр, большое будущее, – уговаривал себя, – для детей возможности. А еще через полгода так затосковал, будто смертный час почуял. Кто знает, может, и почуял... Я с войны совсем плохой вернулся: легкие, как решето, астма развилась такая, что веревка на шее легче. К ночи особенно. Все в постель, а я голову в форточку... В общем, не выдержал, собрал денег и сразу после Нового года, на каникулах, поехал.

Четверо суток добирался. Когда вышел на своей станции – все, мне уже ничего не важно, ни родина, ни чужбина.

На станции, правда, повезло: сразу нашел попутную машину. Сел в кабину да и задремал. Слышу, шофер трясет: «Вылезай, земляк, приехали!» Спрыгнул на снег и чувствую – что-то со мной не так, что-то случилось. И понял: дышу. Хватает воздуха!.. Нет, это не каждый поймет. Сперва страх: сейчас не хватит. Хватило. Опять хватило!.. И с каждым вдохом слаще. Ни с жаждой, ни с голодом не сравнишь...

Иду по городу, кругом пепелища, только печи торчат, как бронтозавры, мороз, луна, звезды, а состояние у меня, будто... Странное, знаете, было состояние. И чем ближе к собственному пожарищу, тем сильнее. Иду и давлось от крика: «Родина моя! Родина!»

Конечно, когда увидел, что осталось от моего дома, остановился. Снегом присыпало, будто всегда так было. Стою метрах в пятидесяти и ловлю себя на мысли, что – ладно, понятно, пепелище, вот труба, вот деревья, но где же... дом? Тут я загрустил. Одно дело глядеть на чужие пожарища, совсем иное на свою печку без крыши... Но все равно было хорошо. Такой покой, знаете, ко мне пришел, такая мудрость...

И вдруг музыку слышу из-под земли!

Сперва решил, что галлюцинирую. Но уж больно, знаете, понятная музыка, я бы сказал – конкретная... Свирель или... Некий деревянный инструмент. И тут увидел – искорка отделилась от земли, вторая, третья. Понял: мой погребок кто-то приспособил под жилье.

Да и тропинку к нему увидел.

Открыл мне немолодой уже мужчина, показалось – лет пятидесяти, хотя позже я разглядел, что значительно моложе, может, и тридцати нет. Стоит на пороге, не приглашает.

– Впустите, – говорю, – на огонек.

– Дверь закрывай, – не слишком, знаете, приветливо.

Вообще я человек обидчивый, а тут будто познал такое, что меня над обыденностью поставило. Оглянулся – не узнать погребка. Даже елка стоит, правда, без игрушек, так, какие-то бумажки висят.

– Я, – говорю, – на минуту, обогреться с дальней дороги.

Тут я заметил мальчишку на топчане под тряпьем. Заметил, может быть, минутой раньше, но не понял, что это глаза у него такие. Синие.

– Эге, – говорю. – Вот где, оказывается, зимой васильки живут!

Гляжу на отца, а у него такие же. Тут мне совсем весело стало. Кроме того, рыжие что один, что другой, только у парнишки золота больше.

– И рыжики тоже здесь?

Я, знаете, люблю детей. А послевоенные дети были особенные... доверчивые, благодарные... Вижу, и он поглядывает на меня весело. Значит, подружился и с отцом.

- Вы не доктор? – спрашивает.
- Нет, я учитель. А что случилось?
- Малец болеет.
- На что жалуется?
- Он не жалуется, – криво усмехнулся. – Болеет и все.
- Врача вызывали?
- Опять усмехнулся.
- Вызывали.

Не сказать, чтобы приятная улыбка у него была. Так улыбаются люди, для которых вера уже позади, а сомнения – привычное дело... Но я никогда не торопился судить людей. И не потому, что ответного суда боялся, а... Не чувствовал такого права. И сейчас не чувствую.

– Что говорит? – не сдаюсь, расспрашиваю. Я, знаете, не гордый, хорошему учителю нельзя быть гордым. Писателю, я думаю, тоже?.. – хитро взглянул на меня. – Гордость – привилегия политиков... хотя... кто еще так уничивается, как они?..

– Сыро, говорит.

Но и действительно сыро было ужасно. За пять минут я покрылся испариной.

Нет, не хотел он со мной говорить. Что ж, у человека свои заботы, а тут...

Вижу, картошка у них варится.

– Нельзя ли, – спрашиваю, – перекусить с вами? Давно не пробовал картошечки белорусской... – и достаю из сумки банку тушенки. Эта штука, знаете, открывала в те времена и сердца, и души... А когда достал американскую жевательную резинку, обстановка совсем изменилась. Мальчишка заулыбался, вылез из-под тряпок. Он глухонемой был, это я почувствовал сразу.

Решил я ничего про себя не говорить. Пусть живут спокойно, а там видно будет. И хорошо сделал. Переехали мы сюда только через пять лет, на том месте давно другие люди новый дом построили, а человека этого, Андрея Соловья, с парнишкой я больше не встречал.

Я, конечно, знаком с теми – как их назвать? легендами? баснями? – что ходили о нем. Не знаю, что это означает и откуда взялось. Я такого – веселого, беззаботного человека не увидел. Хотя чувство юмора – праздничное чувство, а в будни... В будни оно часто изменяет... Тем более, если сын болен. Какие шутки?

Прощаясь, уже у порога, учитель смущенно улыбнулся, сказал:

– А еще... Не знаю, стоит ли говорить?.. Парнишка его у меня портсигар... это... утащил. Я долго решал на следующий день – идти или не идти... Но – подарок фронтового друга, пошел. Вернул без звука, только побелел так, что я раскаялся. Не думаю, что было это сознательное воровство. Скорее не устоял перед необычной игрушкой. Я, извините, не так часто ошибаюсь с детьми...

Елка

За два дня до Нового года Андрею пришло в голову, что и они могли бы поставить у себя в землянке небольшую елку. У Тишка такая идея вызвала восторг.

Недолго собираясь, одолжили у соседей саночки, прихватили топор, отправились.

Лес находился в трех-четырех километрах от городка, погода стояла хорошая, правда, задувал в лицо острый ветерок, но Андрей посадил Тишка на саночки лицом назад, и через час они были на месте.

Однако лес оказался сосновым, «не замерз?» – спросил Тишка. «Нет». – «Поедем дальше?» – «Поедем». Понятно, что нравилось: давненько не катался на санках и неизвестно, когда еще покатается.

Время от времени Андрей останавливался, заглядывал в лицо парню. «Ну как? Хорошо?» – «Хорошо». Прошагали еще столько же, пока не увидели в стороне от дороги темный островок елок.

«Подожди меня здесь, – сказал Андрей. – Я быстро. Не боишься?» – «Нет».

Через сотню метров оглянулся – Тишок помахал рукой.

До островка оказалось не близко, тем более по снежной целине, а когда добрался, увидел – елочки неказистые, чахлые. Неподалеку виднелся другой островок, и Андрей направился к нему. От другого к третьему. Не возвращаться же с однобокой или ободранной? Тем более что ветер в лесу почти утих и было еще довольно светло.

Наконец, отыскал и вырубил такую, что не стыдно и по городу везти, и в землянке поставить.

Возвращаться своими следами было бы далеко и трудно, и он двинулся к просвету среди деревьев, где угадывалась дорога. Но когда вышел на нее, понял, что не слишком ясно представляет, куда идти дальше, в какой стороне город и Тишок. Озадаченно прошел пятьсот метров в одну сторону, километр в обратную. Увидел третью дорогу, поразмыслил и бросился по ней бегом.

Оказался на опушке леса с незнакомой стороны.

Было уже совсем темно, когда он услышал скрип полозьев и понукание.

– Эй! – закричал. – Подожди!

Возница оглянулся и вдруг вскочил на колени, бешено ударил лошадь кнутом.

– Подожди, сукин ты сын, не бойся!..

Но как не испугаешься, если бежит к тебе под луной мужик с топором?

– Мальца с саночками не видел?

Однако тот уже скрылся из виду, только слышно было, как орал и бил лошадь.

Всякие ходили слухи о прятавшихся в лесах дезертирах.

Но куда бежать дальше?

Решил, что крестьяне в такое время редко ездят в город, скорее всего возвращался из города.

На этот раз не ошибся. Скоро узнал дорогу и кинулся по ней бегом. Добежал до опушки, увидел безжизненные снега до самого города, повернул обратно.

...Тишка он нашел на том же, где оставил, месте. Позже Тишок объяснил, что пытался пойти по следам в лес, – тут, видимо, и разминулись, – но застрял в сугробах, вернулся.

Нес на руках, вез на санках, заставлял бежать рядом.

Домой вернулись и без топора и без елки.

Пили чай с двойным сахаром, и Андрей изображал волка, медведя, а Тишок смеялся. Вроде обошлось. Правда, на следующий день у мальчонки появился жар, но был весел и с удовольствием повторял, что нисколько не боялся, а заплакал только раз – когда упал в сугроб. Мог бы и сам найти дорогу домой – запомнил направление ветра, но решил подождать.

А елку Андрей все же принес: через несколько дней увидел возле школы большую, выброшенную и отрубил верхушку.

Савельевна, соседка

...Было это через неделю, а может, две после Нового года. Стучит вечером в дверь, говорит: «Савельевна, малец у меня болеет». – «Чем болеет?» Я на него гляжу, он на меня. Накинула платок, пошла с ним. Как глянула на мальчика, так обмерла. Кончается, а не болеет!.. Дышал, как... Век не забуду. «Доктор был?» – спрашиваю. Опять молчит. «Доктор был?» – кричу. «А? Доктор? Был». Потерялся мужик.

Бабы теряются, что про мужика говорить. «Где лекарства?» – «Лекарства?» Оно и правда, какие тогда лекарства?

А я что могу сделать?

Побежала домой, принесла пузырек спирта, две простыни, одеяло. Переложили в сухое, стала его растирать. Терла, пока руки не отнялись. «Три! – кричу, а он сидит. А у меня своих двое, оба воют. – Три, дурень проклятый, мерин рыжий, глухарь рожевский, мокрая курица...» Ору и плачу. А парень опять мокрый. Побежала домой – так и есть, стоят под дверью, воют. Налупила обоих, сунула в рот по картошке, схватила тряпок в охапку и назад. Открываю дверь, а он крюком висит над мальцом, волосики ему перебирает вместо того, чтоб спасать. Я его, Соловья, теми тряпками как шваркну по голове! «Дубина, – кричу, – лапоть, убоина!» Так и пробегала всю ночь. Весь спирт на него извела, все тряпки перенесла. Не знаю, я тогда парня спасла или бог помиловал. Да и потом, недели две еще веры не было. Малец-то немой, сказать не скажет... Царапает ручонками, пойми его.

Ну а Соловей... Тоже досталось. До того дожил, что лед с колодцев обивал, а потом по дворам за рублем ходил. Ясно, пока малец хворал, деньги кончились, а кормиться надо... Ох, я раз отбрила его. Ох и дала! Что ты, мужик молодой, здоровый, позоришься, груши околачиваешь, иди на завод, жеребец стаенный, бугай колхозный, козел рыжий...

Савельевна засмеялась.

– Ругаться я умела, – пояснила. – Лучше всех в городе ругалась. Даже Самовариха со мной не связывалась.

Весна

К весне дела у Андрея Соловья стали налаживаться. Во-первых, Тишок встал на ноги, начал вылезать на солнышко, хотя и задыхался еще, – но ведь не держать парня в погребе? Во-вторых, Андрей начал получать зарплату – устроился-таки грузчиком на кирпичный завод. Даже опять начал заглядывать раз в неделю к Либанову. Много, правда, не пил – рюмку-другую – прощался.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.